Эдуард МАЦКЕВИЧ

1 2007
120 к

# КРАСНЫЙ САЙГАК

Эдуард МАЦКЕВИЧ

# КРАСНЫЙ САЙГАК

*Литературные эссе, рассказы и повести*

Алматы
2006

ББК 84 (5 Каз – Рус) 7-44
М 37

*Выпущена по программе Министерства культуры и информации Республики Казахстан*

**Мацкевич Эдуард.**
М 37 Красный сайгак: *Литературные эссе, рассказы и повести.*
Алматы: КАЗакпарат, 2006. – 244 стр.

ISBN 9965-645-21-2

Имя казахстанского писателя Эдуарда Мацкевича известно читателям по книгам «Синий соболь», «Время первой тропы», «Зеленое ожерелье», «Рядом с тобой», «Календарь пестрых гор» и другими.

Его новый сборник рассказывает об известных в Казахстане людях, творчество которых он изучал, или знал их лично. Герои книги рассматриваются, через общение человека с природой.

Автор – Заслуженный работник культуры республики.

ББК 84 (5 Каз – Рус) 7-44

М $\frac{4702250201-107}{00(05)-06}$

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ АКАДЕМИЯЛЫҚ КІТАПХАНАСЫ
№ 00103459

ISBN 9965-654-21-2

© Мацкевич Э., 2006
© "КАЗакпарат", 2006

# ГОДЫ И ЛЮДИ

*Где-то в конце 60-х, когда Эдуард Мацкевич работал в молодежной республиканской газете «Ленинская смена» (ныне «Экспресс К»), редактор «Простора» Иван Петрович Шухов обратил внимание на молодого журналиста и пригласил его к соттруднигеству. Я тогда возглавлял отдел прозы. Здесь мы и познакомились.*

*Эдуард работал в отделе публицистики и, как всегда, много ездил по республике. Его свежее перо, очерки, рассказы, повести не могли быть незамеченными и через пару лет «глаз на него положили» «Известия», которым он отдал более двадцати лет своей творческой жизни.*

*За это время он изъездил вдоль и поперек всю республику. Отсюда и характер, и настрой его публикаций, главной темой которых являются люди.*

*Его герои – личности, как правило, неординарные. Будь то поэт, скульптор, ученый, летчик или альпинист. Они честны, основательны, бескорыстны и великодушны. И трудности свои они преодолевают как должное, без душевной усталости.*

*Обращение к таким образам особенно важно в наше утилитарное время.*

*Первая часть книги озаглавлена «Теплые звезды». Ее герои несут тепло другим, настраивая их на добро и светлое восприятие мира.*

*Вторая часть «Тороплюсь на свидание» включает в себя несколько небольших повестей и рассказов о жизни современников.*

*На мой взгляд книга «Красный сайгак» направлена на воспитание патриотизма*

*Время неумолимо. Уходят годы, уходят люди. Многих из которых мы знали, с которыми мы дружили и работали в «Просторе» теперь нет среди нас. Не стало и большинства героев новой книги Эдуарда Мацкевича, известных в Казахстане писателей, актеров, художников. И тем более дорога память о них, записанная очевидцем.*

*Отрадно, что писатель не лелеет свои воспоминания о героях, а ведет с ними как бы внутренний диалог.*

*Книга хорошо проиллюстрирована. Как журналист, Эдуард Мацкевич никогда не расставался с фотоаппаратом и за годы корреспондентской работы собрал большой архив снимков. Это придает сборнику неоценимую достоверность.*

*Более десяти лет Эдуард Олегович Мацкевич возглавлял республиканскую газету «Экологический курьер», оставаясь верным своей теме – защите природы. Известный писатель-натуралист Максим Зверев писал о нем: «Рассказы и новеллы Э. Мацкевича открывают нам страницы об отношениях человека с прекрасным миром природы Казахстана, познавать который увлекательно всегда и всюду, ...он выработал у себя способность к точным наблюдениям, умение увидеть то, мимо чего другие проходят не замечая, а потом рассказывает об этом интересно, доходчиво и зримо».*

*Остается добавить, что газета, возглавляемая Э. Мацкевичем, в 2003 году выиграла национальный конкурс «Будущее начинается сегодня» в экологической номинации и признана лучшим изданием, а ее главный редактор назван «Лучшим журналистом русскоязычной прессы».*

*Сегодня не велик писательский расклад русскоязычной прозы. Поэтому новая книга «известинца» Эдуарда Мацкевича весьма кстати. Она – хороший подарок читателям и автору.*

**Иван ЩЕГОЛИХИН,**
**народный писатель Казахстана.**

# ТЕПЛЫЕ ЗВЕЗДЫ

# КРАСНЫЙ САЙГАК

## Султанмахмут Торайгыров – казахский Лермонтов

*Счастье – это красный Сайгак.*
*Погоня за ним – байга.*

*Султанмахмут Торайгыров*
*(23 октября 1893 – 29 апреля 1920)*

Недавно исполнилось 85 лет (21 мая) как из жизни ушел большой казахский поэт Султанмахмут Торайгыров. Мой товарищ называл его “Лермонтовым своего народа”. Как и великий русский поэт, этот “степной Лермонтов” прожил до обидного мало – всего 27 весен. Но этого оказалось достаточно, чтобы о нем говорили и в беспокойное время переделки мира, и помнили его сегодня.

Почему я, когда-то совсем еще молодой журналист заинтересовался творчеством этого человека, о котором определенное время в советский период старались несколько умалчивать, а его публикации на русском ограничивались несколькими тоненькими книжками “Избранного”?

После университета я работал в Усть-Каменогорске, в областной газете. Довелось услышать, что где-то в здешних краях еще в дореволюционное время в маленькой сельской школе преподавал Султанмахмут.

Не без труда я нашел сборник его стихов и в предисловии прочел: “Конец 1913, начало 1914 года.

Чингистайская волость, аул у подножье Алтайских гор. Молодой поэт приехал учительствовать...” И загорелся я целью найти этот самый аул. Будучи по заданию в Катон-Карагае, я все-таки “вышел” на Чингистай, настроенный и вдохновленный, прочитанными ранее стихами.

К счастью, тогда еще были живы люди, помнившие этого двадцатилетнего юношу, промелькнувшего здесь неожиданным метеором. По крупицам я собирал редкие детали и факты, сопоставлял с написанными поэтом строками.

Так родилась новелла “Красный сайгак”, рассказывающая лишь об одном эпизоде яркой жизни этого необычайно талантливого человека.

Вот что из этого получилось

## Чингистайская любовь

*В этом доме в ауле Чингистай размещалась школа.*

Он сразу же привлек внимание всего аула не только своим городским платьем. Одет был учитель необычно: в коричневую тройку, носил галстук, хотя и заправлял брюки в голенища сапог. Аульные красавицы уже видели в нем завидного жениха, шептались, расписывая на все лады его привлекательную внешность. Говорили, что он умен и пишет стихи, но беден. Что где-то в степи, в ауле Шорман есть у него богатые родственники, с помощью которых надеялся он открыть школу, но родичи не пожелали дать на это и худого барана. Так судачили красавицы.

Однако, беден не беден, а сам Адыкарим Ережепов, волостной управитель, взял его постояльцем, предоставив одну из комнат своего большого деревян-

ного дома. Это было единственное деревянное строение в ауле, если не считать школы. Школа или, как она именовалась, двухклассное русско-казахское волостное училище, готовило в основном писарей и переводчиков для национальной администрации. Но здесь учились и русские дети из соседних поселков, и преподаватели – русские учителя.

Молодой учитель приехал в Чингистай не без тайного желания укрепить свои знания в языке Пушкина и Лермонтова, которых он любил и почитал. Он свято чтил Абая и хорошо понимал его слова: "Русские видят много. Если будешь знать их язык, то на мир откроются и твои глаза". И молодой поэт решил в совершенстве знать русский язык и русскую письменность.

Учитель быстро сдружился с аульной молодежью. Он был начитан, многое знал, и его очень любили слушать. Султанмахмут с увлеченно читал свои стихи где-нибудь в тесном кругу парней, лежа в густой траве. И часто в вечерних сумерках, в наступившей тишине слышался его молодой голос. Он читал о родной природе, о любви, справедливости и людском горе

*Бездельник бай только ест и пьет*
*И, руки сложив, считает скот.*
*Жатаку, который растит богатство,*
*Он платит по три барашка в год.*
*И если что у жатака не так,*
*И если не угодил жатак,*
*Бай собакой его называет,*
*"Самой грязной из всех собак!"*

Однажды их подслушал мулла, поздно вечером возвращавшийся с крестин.

– Крамольные мысли говоришь, учитель. На божественном Гарасате* тебе не будет места.

– О каком Гарасате мечтаешь почтеннейший? Кто на земле не узнает счастья, вряд ли найдет его за гробом...

Мулла ушел, затаив обиду.

А молодежь слушала Султанмахмута, кто с

недоверием и опаской, кто восхищенно и гордо.

– Эй, джигиты, верить муллам – значит быть врагом самому себе. Ведь все хорошее в жизни зависит только от самого человека. Случайно ли небо ласково к одним и обращает преждевременно в прах других? Случайно ли на пальце знатного подлеца сверкает алмазное кольцо, а голодный кедей зимой и летом ходит в жалком рубище?

Он был молод, очень молод и горяч. Сердце его не привыкло кутаться в дорогие шубы и готово было спорить с целым миром. Среди своих двадцатилетних сверстников он чувствовал себя порой мальчишкой, верховодом-заводилой в опасной игре. Но это не игра, а жизнь, в которой для него уживались рядом и бунтарство, и сострадание. Чем помочь своему народу? Свет ученья – вот что откроет ему глаза, любовь к наукам, родному языку и поэзии.

Почему в аулах не стало слышно песен? Или перевелись акыны? Но нельзя же молчать. Только песня поможет народу очистить свою душу.

Как бы ни был человек черств и жесток, он, попадая под власть песни, становится добрее и лучше. В нем закипает кровь, и он готов перевернуть горы.

Если в народе угаснет поэзия, он лишится своей души. Человек без песни превратится в бездушный саксаул, пригодный только для топлива. Надо бороться за возрождение песни.

И ранними осенними вечерами, когда луна серебрила сухую полынь, и аул курился в теплом кизячном дыму, старые аксакалы вздрагивали от изумления и неожиданности, услышав сильный и властный запев давно забытой мелодии.

– О-э-э-ппаа-а...

И ветер с гор подыгрывал струнами домбры и, вплетаясь в голос певца, разносил его далеко по всей округе.

Именно подобный настрой и мотивы звучали в стихах Султанмахмута, написанных в это время.

– Он заставляет джигитов петь и читает им

непристойные стихи, - сказал мулла, принимая очередную пиалу.

Волостной управитель Абдыкарим Ережепов вытирал полотенцем красное мясистое лицо.

– Что-то мы много говорим о нашем постояльце.

– Язык бы ему укоротить. Слишком болтлив этот маленький мугалим, - настаивал мулла.

– Все в наших силах. Степи нужны грамотные казахи. Но если соловей запоет не ту песню, мы накормим его золотыми камешками. Тогда он будет ручной и ленивый. – Абдыкарим засмеялся, довольный своим ответом, и откинулся на подушки.

С почтением проводив муллу, он подумал: "Я все вижу, и меня не проведешь..."

Но не видел Абдыкарим того, что пришлось ему узнать из чужых уст и доставило столько хлопот и беспокойства, не видал, как дочь его, красавица Багила, дарит учителю горячие запретные взгляды, что остроглазая девчонка Нурмаш украдкой носит молодой хозяйке записки, которые каждая девушка мечтала бы получать от любимого.

Почти под самыми окнами школы плескалась в ключе снеговая вода, бегущая с близких гор. Купались в ее брызгах плакучие ветви берез. Красные их стволы обступили ручей и провожали его от подножия гор до самой Бухтармы. Ручей так и назывался: Кзылкаин – Красная береза. Султанмахмут любил здесь сидеть подолгу и слушать тишину, уронив голову на колени.

И в это редкое, чуть ли не единственное свидание с Багилой, они поднялись вверх по ручью. Глаза девушки светились застенчивым счастьем, и вокруг было так прекрасно, что Султанмахмут забыл про все на свете...

Он любовался Багилой и награждал ее в душе самыми красивыми эпитетами, и если бы они могли засверкать, как вещи, девушка с ног до головы была бы усыпана драгоценностями. Да, она хороша, словно месяц в темной ночи. Ее кудри – солнечный свет и глаза чернее угля, и щеки нежнее бесценного шелка. Сердце обливалось жаркой волной и тесно становилось в груди,

когда он смотрел на нее.

Мысли волновали нерожденные строки, а Багила, играя веткой березы, говорила:

– О, Махмут, прочти что-нибудь. Народ любит твои стихи.

И он читал ей о том, что слышал: о шорохе трав и шелесте листьев, о голосе зеленых лесов, которые шепчут в тишине о счастье. О чем он еще мог ей сказать? О том, что Багила для него тоже "красный сайгак", которого почти невозможно догнать, что любовь – это мираж, где двое, протянув руки, идут навстречу друг другу, но никак не могут встретиться. Потому что кого-то уводят с дороги силой денег, обычаев, обмана и угроз...

Абдыкарим рассвирепел, узнав, что дочь встречается с учителем. На поэта он смотрел волком, а Багилу сделал затворницей. Ей было 18, и давно сватались к девушке богатые женихи, но управитель медлил. Он любил дочь и, не торопясь, подыскивал ей достойнейшего, чтоб был богат, силен и умен. Но такие качества редки в одном человеке.

Совсем некстати подвернулся молодой учитель. Умен, но за душой нет и худой овцы. Абдыкариму нужен не нахлебник в доме, а почет и богатство.

Управитель думал сначала, что учитель – это легкое увлечение, что все это пройдет очень скоро, а весной, пожалуй, можно говорить и о замужестве дочери. Но от зоркого Абдыкарима нельзя было спрятать тоскливую решимость Султанмахмута. А после разговора с Багилой он с ужасом убедился, что нужно торопиться. Сегодня же немедля послать гонцов за женихом, иначе чего только нельзя ожидать от этих молодых с их крамольными разговорами о свободе. Ведь убегут же – тогда позора не оберешься.

Ранним ненастным утром умчались из аула на лучших конях три джигита. Путь их лежал в далекую Ойротию. Всего несколько слов должны они передать старейшему бию, у которого табуны не имели счета: "Волостной управитель Абдыкарим Ережепов

согласился отдать дочь за вашего сына, достопочтенного Аксолтана..."

И в самый разгар зимы, когда бесновался буран, нагрянул в аул свадебный кортеж. Впереди гнали табун лошадей, чтобы пробивать дорогу в глубоком снегу.

Зазвучала в доме Абдыкарима жалобная песня невесты "Жар-Жар". Песня девушки, насильно выдаваемой замуж. Говорят, те, кто слышал ее, не смогли сдержать слез.

За триста километров через Урыль, Чиндагатуй, прервал Укок, в далекий Чуйский аймак на тройке, разукрашенной лентами и бубенцами, увозили Багилу. Десятки джигитов сопровождали свадебный поезд, согласившись только за хорошие деньги в такой буран покинуть теплые зимовки.

Когда скрылся последний всадник, в ауле наступила мертвая тишина. Оскорбленный поэт тяжело переживал. Он глядел в окно на белую пелену снега, одинокий и подавленный. "А разве случилось что необычное? - думал он. Часто ли казашка шла любя замуж? Ведь это ты, Махмут, видишь каждый день. И вот сейчас почувствовал на своей шкуре".

В его первом романе "Красавица Камар" каждая строчка кричит о бесправии женщины и требует ее раскрепощения. Но, видно, мало слагать песни. Вот он, умный, образованный, любимый потерпел поражение, его оттолкнули, с ним просто не стали разговаривать. Потому, что в этой заблудившейся жизни ничто не почитается, кроме богатства. Все остальное лишь приложение к нему: и разум, и совесть, и любовь.

Девушки продаются, как вещи, и становятся безмолвными рабынями. Кто виноват в этом? Кто виноват, что живучи феодальные обычаи, что так много нравственной темноты, что волостные управители, баи и аткаминеры заботятся только о своей выгоде, чинах и наживе?

С первыми весенними лучами поэт навсегда покидает Чингистай, где мимо красным сайгаком промелькнуло его счастье. А спустя год он заканчивает второй роман в стихах "Кто виноват?".

Он снова говорит людям: “Вот они, смотрите, виновники ваших бедствий. Это богач – волостной управитель, это обманщик мулла, это байские прихвостни”.

Перед надвигающейся революцией поэт остановился, как перед загадкой, хотя он был убежден, что счастье человека в знаниях, в борьбе, а не в безумной погоне за призрачным красным сайгаком. Надеяться только на удачу – значит бесцельно существовать.

*Он твердо верит,*
*Что будет однажды смертельный бой*
*Меж баем и бедняком,*
*И каждый на земле человек*
*покорится силе труда*
*Пускай сайгак ускоряет бег,*
*Тот, кто был господином весь век,*
*Исчезнет навсегда...*

Не местных биев, не управителя, а бедного молодого учителя пронес через десятилетия народ в своей памяти. Хотя поэт был в ауле всего несколько месяцев, но все чингистайцы гордятся этим и считают его своим земляком.

Почти не осталось людей, что видели его в лицо. Не стало на седьмом десятке Нурмаш Баировой, той самой девчонки Нурмаш, что носила записки Багиле, не стало многих других. Но рассказы о худощавом юноше, поэте-бунтаре, который промелькнул здесь яркой звездой, передаются из поколение в поколение.

Когда готовились эти строки, Мухтар Сахариев, тогда управляющий отделением Урыльского совхоза, образованный, начитанный человек, любящий и ценящий поэзию Торайгырова, направил меня в соседний поселок Жана Ульго к старому пастуху Канапье Мусину. И старик, пощипывая редкую седую бороду, неторопливо, за чашкой чая вспоминал: он видел и помнил поэта.

Жошыхан Касиманов, директор Чингистайской одиннадцатилетней школы имени Султанмахмута

Торайгырова, повел меня к прохладному горному ручью, где, по преданию, поэт встречался с любимой. Узкая тропа вела от школы к старой покосившейся березе.

– Видно, здесь он любил сидеть,– сказал Касиманов.

Пел свою песню ручей так же, как и много десятилетий назад, дышал он холодом далеких ледников, и ветер с гор ласкал ветви берез. Там же стояло тогда здание школы, срубленное умельцами из крепчайшей алтайской лиственницы, готовые послужить еще долгое время людям.

Эта сельская школа уже дала Родине доктора наук, генерала, много инженеров, зоотехников, учителей, медицинских работников. Дети чабанов с отдаленных отгонов тогда жили здесь и каждый год двадцать молодых чингистайцев вместе с аттестатом зрелости получали диплом животновода-механизатора. Среди них было немало талантливых людей, которые тоже писали стихи. Но у новых песен были иные мотивы.

Султанмахмут мечтал о той жизни когда свет науки будет доступен каждому казаху. Время открыло счет этому.

## Возмутитель спокойствия

Пишущий всегда должен испытывать некую зависимую причастность к судьбе своего героя, иначе не приблизишься к его сущности. В какой-то степени помогли разбудить эту причастность Александр Лазаревич Жовтис, мой преподаватель в университете, который довольно успешно переводил Султанмахмута на русский и профессор Бейсембай Кенжебаев, чья докторская диссертация была посвещена творчеству поэта. Он преподавал историю казахской литературы.

Наши пргрессивные учителя тогда обвинялись во всяческих “измах”. Кто-то подвергался незаслуженным гонениям, кому-то даже пришлось поплатиться свободой.

А в 60-е годы студия “Казахфильм” попросила меня написать сценарий учебного документального фильма

о Султанмахмуте. Что я и сделал. "Измы" ко мне не пришьешь, да и на дворе наступало время "хрущевской оттепели".

Как был прав в свое время Кенжебаев, который сказал тогда, что Торайгыров "каждой эпохой будет оценен по-своему, с учетом нового мировоззрения и новых ценностей".

К сожалению, этих талантливых исследователей уже забрало время. Когда я собирал материал к "Красному сайгаку" русский читатель мало что знал о поэмах "Айтыс", "Знакомство", где Торайгыров воссоздавал образы своих знаменитых современников: А. Букейханова, М. Дулатова, Ш. Кудайбергенова и других. Тем более умалчивалось стихотворение "Гимн Алаша", написанное в 1917 г. по просьбе Букейханова, во-время оттепели февральской революции. Шакарим прочел его на областном съезде казахов в Семипалатинске.

Одного этого было достаточно, чтобы, как принято тогда, обвинить Султанмахмута в национализме и долгое время скрывать его произведения. Только ранний уход из жизни избавил его от судьбы единомышленников, "изъятых органами" в трагические 30-е годы.

Но вернемся к мировоззрению. Если поначалу, подчеркивалась та сторона его творчества, где он клеймил байское засилье и деспотизм власти, то в том же "Айтысе", он "воспевал безмятежность казахов, довольных укладом старины, - замечали и более позднис исследователи. – "Тоскуя по ханам и бекам, поэт представляет их прекрасными людьми, заботящимися о безопасности, единстве и благе своих поданных".

Жизнь многообразна. И Абай – светоч национальной культуры был в миру не бедным человеком.

Идеализируя, порой, старину, Султанмахмут, судя по всему не собирался ее реставрировать.

Духовный принцип бытия он видел в поступательном развитии общества, науки, личности. Этот возмутитель спокойствия выступал против угрожающего воздействия денег и мнимой религиозности. Корень социальной трагедии народа он видит в бедности. В этом

отношении поэт современен.

В стихотворении "Вот какие у нас вожаки!" он восклицает:

*"Вожаками себя называют они,*
*А шатаются праздно целые дни –*
*В модных шляпах, в очках и с блестящим портфелем*
*Много ль пользы казахам от их болтовни?"*

Достижение народом политического равновесия он видит в искоренении таких "вожаков".

Как это дополняется одним из стихотворений А. Грибоедова:

*"Узрит начальство – ну плясать под дудку,*
*Заглядывать в глаза,*
*Смеяться плоским шуткам.*
*На задних лапах примется ходить"...*

Разоблачение пороков и видение прекрасного не подвластно времени и национальности авторов.

Видно не случайно современники называли Султанмахмута – "степным Лермонтовым". Стихотворение "К жизни" очень схоже с лермонтовским "Парусом". Есть и другие стихи близкие по тону.

К месту вспомнить высказывание А.М. Горького о Лермонтове: Печорин близок ему, поскольку в Лермонтове, есть черты пессимизма, но пессимизм в нем – двойственное чувство, в котором звучит презрение к современности "отрицание ее, жажда борьбы и тоска, от сознания одиночества, от сознания бессилия..."

Как это все похоже на Султанмахмута!

Его взгляды и жажда деятельности на пользу своего народа, сделали его одним из самых прогрессивных деятелей, стоявших у истоков казахской литературы.

* * *

Помню, будучи в Чингистае, я спрашивал у старика Канапьи, почему поэт сравнивал счастье с сайгаком. Ведь этих степных антилоп и во время нашего разговора тогда было очень много.

- Э-э, ничего ты не знаешь, - ответил Канапья. – Выбили тогда сайгака, редкостью он стал. И добыть

его в то время было также трудно, как стать счастливым.

К сожалению, эта история повторилась в последние годы. Поредели стада антилопы в условиях рыночных отношений. И беречь их надо, как никогда.

И еще одна деталь. Известно, что сайгак-вожак, погибая, свои последние силы отдает продолжению рода. Зная, что неизлечимо болен. Султанмахмут щедро делил свою беспокойную жизнь с творчеством.

Впрочем все они так: и Грибоедов, и Лермонтов, и Султанмахмут, и Есенин...

Непредсказуем и тернист путь к истине.

# СОТВОРЕНИЕ ПЕСНИ

***Народному акыну Кенену Азербаеву в этом году исполнилось бы 120 лет***

*В дни праздничной нашей встречи,*
*В сентябрьские вечера*
*В моем родном Семиречье*
*Звучат напевы Днепра.*

**Кенен Азербаев.**

*Задушевная беседа с гостями. Рядом Олег Мацкевич.*

Принято считать, что поэты творят по вдохновению. Но это захватывающее чувство руководит ими далеко не всегда. Нередко – это причастность к большим делам или осознанная необходимость. Или просто социальный заказ.

Недавно на одном из каналов республиканского ТВ один милый седой человек откровенно и добродушно рассказывал аудитории, как великий Джамбул напел ставшие историческими строки “Ленинградцы, дети мои”.

Там, в Кремле, решили, чтобы акыны, ашуги, сказители поддержали своим словом из народа пульс блокадного Ленинграда. К Джамбулу, в частности, для этой цели направили сильного московского поэта в качестве переводчика. Возможно, так оно и было. Но стихи акына тогда прогремели на весь мир. Они несли огромный эмоциональный и политический заряд. Можно ли это назвать социальным заказом или, как сейчас говорят, PR-ом.

У акына любимый сын ушел на фронт и не вернулся. И мог ли Джамбул не выразить эту боль через сердце?

Мне пришлось участвовать при рождении песни-обращения в иные годы и в иное политическое время.

Нас было четверо: казахский критик и литературовед академик Мухамеджан Каратаев, известный поэт и переводчик Алексей Брагин, заведующий отделом литературы и искусства “Казахстанской правды” мой отец Олег Мацкевич и автор этих строк, тогда сотрудник республиканской молодежной газеты “Ленинская смена”. Мы разместились в одной “Волге”. Цель поездки в аул у подножья Курдайского перевала – встреча с народным акыном Кененом Азербаевым. Мы ехали с надеждой попросить его напеть послание к украинскому народу по поводу намечающейся Декады казахской литературы и искусства в Киеве. Тогда это было привычным делом. А поэтическое обращение к друзьям – хорошей народной традицией.

Вот что я написал после этой поездки, которая запала мне в душу.

* * *

В Матыбулаке, где он родился, его уважали не только как председателя первого аулсовета. Всю свою жизнь этот убеленный сединой человек не расстается с домброй. Его песню о маленьком пастухе, который жалуется жаворонку на горькую судьбу, о мальчике, которому конем служит белая палка, о куцей сивке “Кок-шолаке”, за которую отцу Кенена, Азербаю, пришлось три года пасти овец, - эти первые песни, исполненные маленьким акыном на крохотной детской домбре, уже почти семь десятков лет любят и поют в Семиречье, Киргизии, Узбекистане, Монголии.

Когда Кенен был моложе, он мог совершать многосуточные переходы, кочуя с чабанами по степи, шагая от аула к аулу, слушая известных жирши и серэ[1]. В песне жаворонка, посвисте ветра, сухой траве и топоте табунов искал он мелодию. Он ищет ее всю жизнь в радости и в горе, он ищет большой, великий смысл в окружающем. И плачет его домбра на могиле первенца сына, плачет, обращаясь к белошерстной козочке, которая потеряла лопоухого, мягкого, как пух,

козленка. Его песни милы и трогательны. Его слова могут быть беспощадны: "Язык мой, будь пулей врагам, пой, пой!" Он называл молодежь, вернувшуюся с фронта, цветами аула и не находил среди этих цветов своего Жанарбека, пропавшего без вести. Кенен говорит, что молодежь пробуждает его думы, и он не замечает старости.

Раньше, сев на коня, за один дневной переход через цветущую маками степь Кенен попадал к своему другу и учителю Джамбулу. Они сидели с ним на одной кошме, стремя в стремя объезжали колхозные поля, и в яблоневом саду у синей вершины Майбулака на вечерней заре оживала домбра. Джамбул подарил Кенену, как способному ученику, свой пояс, желтый кожаный пояс с серебряной чеканкой.

Давно не стало Джамбула, оплакала его степь, отзвенели по нему печальные кюи, и расписанный орнаментом мавзолей встал над могилой, как песня, застывшая в камне. Кенен свято берег в памяти доброе для него прошлое, все, что связано с ним: и книги, и вещи, и традиции, и старых друзей принимал, как родных братьев, так, как принимал их когда-то великий акын.

В тот день он оседлал Айгасака и выехал на Семиреченский тракт. Кенен легко держался в седле, белая борода его развевалась воинственно, встречные снимали перед ним шапки. На перекрестке дорог он осадил коня и застыл, как одинокое дерево. Ждал гостей из Алма-Аты, хороших своих друзей, ждал долго. И когда ветер с Курдая распахивал его чапан, на солнце сверкал пояс Джамбула.

Кенен-ата очень похож на мудрецов, которых изображают на древних фресках и описывают в старых восточных сказках. Длинное, вытянутое сухое лицо, орлиный с горбинкой нос, тяжелые веки, узкая раздвоенная борода, на макушке крохотная зеленая шапочка.

– Салям, айналайн, - он обеими руками пожимает протянутую ладонь и колючими усами прикладывается к щеке. Руки у него коричневые, сильные, с тонкими длинными мальцами:

– Как дорога, как семья, как скот?..

Гости сидят на кошме в прохладной комнате: казахский писатель и русский поэт-переводчик, который дружил с Джамбулом и не раз переводил Кенена.

Они вспоминают годы, которые пронеслись стремительной байгой, они вспоминают время напряжения, томительного ожидания и большого взлета казахской песни, когда плеяду одаренных акынов возглавлял великан народной поэзии Джамбул.

...1937 год. Джамбул, Кенен и его гость Мухамеджан Каратаев в Тбилиси на пленуме правления Союза советских писателей. Пленум посвящен празднованию 750-летия поэмы "Витязь в тигровой шкуре". На торжестве много известных людей. Джамбул спел свою песню о Шота.

Кенен молча ходил с домброй, чувствовалось, что хочет он что-то сказать. Акын-импровизатор может только во весь голос высказывать свои впечатления и чувства, он не привык мурлыкать себе под нос, он поет для людей, для многих людей, он должен видеть их лица, слышать возгласы одобрения или огорчения. Поймут ли его? Кенен робел выступать после Джамбула.

Но все-таки запел. Запел в вечерний час, когда тбилисские предгорья окрасились в малиновый цвет, когда появился на веранде со своей трубкой Алексей Толстой, когда Павло Тычина и Микола Бажан закончили беседу с Джамбулом и все жители маленькой гостиницы вышли полюбоваться на закат. Кенен подарил им песню. Домбра высоко повела мелодию, плавно и нежно, она уже там, в синеве, где купается жаворонок, вот она падает вниз, на землю, касаясь крылом ковыля на старом кургане, под которым ржавеют боевые кольчуги... Он пел о колхозных отарах Матыбулака, о родном Джетысу, пел о братстве народов, о Пушкине и Лермонтове, которых когда-то ссылали на Кавказ. А он, акын Кенен, приехал на Кавказ как почетный гость и представляет свой народ, его песни. Сильный, чистый голос у Кенена. Мелодия лилась величаво и спокойно.

Кенен смолк и довольно быстро ушел. Все забросали Мухамеджана вопросами.

– Кто этот чудесный певец? У вас в Казахстане все такие красивые?

В тот вечер акын познакомился с Миколой Бажаном и Павло Тычиной.

...Сегодня Кенен и его гости вспомнили все это. Вспомнили, потому что нельзя было не вспомнить. В Казахстане начиналась декада украинской литературы и искусства. Его друзья прислали казахскому народу свои теплые слова. В Алма-Ату из Киева приехали художники, поэты, артисты.

Что ты скажешь им, Кенеке?

Старика будто подменили. Он суетливо поднимался и исчезал из комнаты. Его потертая куртка из зеленого бархата мелькала то во дворе, то в саду. Он вывел из конюшни Айгасака и потянул кормить к стойлу. Потом пошел за водой. Позже сидел на корточках в саду, прикрыв глаза, раскачиваясь из стороны в сторону. Он словно забыл про гостей, оставив их на попечение старшего сына. А сын говорил: "Ата совсем не отдыхает. По дому старается делать все сам. На уборке появился на коне прямо перед комбайном: смотрел, нет ли огрехов. Недавно выступал в школе. Разъезжает по аулам, джайляу, все верхом – не хочет пользоваться автомобилем..."

Кенеке в ту минуту был занят другими мыслями: "Стары мы стали, чтобы совершать далекие переезды. Лет тридцать назад Павло и Микола побывали в ауле Джамбула. Тогда был большой той и айтыс. Джамбул спел песню "Моему сыну – Павло Тычине".

Сегодня очередь Кенена. Ведь ему, не другому, Джамбул подарил свой пояс. Не высохли еще пальцы, не потрескалась домбра, и не потух голос. Он аксакал в Семиречье, он должен сказать слово.

До самого вечера, что бы ни делал Кенеке, он был как во сне. Мысли теснились в голове, строчки просеивались через мелодию, руки тянулись к домбре, а уста нашептывали. Уж показалась неподвижная звезда

Темирказык, вспыхнул небосвод тысячами звезд, а Кенен все стоял у яблони в молодом саду, что посадил своими руками. Его несколько раз звали к вечернему дастархану, а он отмалчивался и слушал, как шелестят деревья. Он слушал.

Вот оно! Кажется, это будет так:

*В просторе былых кочевий*
*У Родины на виду –*
*Сойдемся под сенью деревьев*
*В яблоневом саду.*

А разве умолчишь о том, что родила его земля этой осенью?

*Пусть осень в уборе пестром*
*И ветер начал свистеть,*
*Смотрите, братья и сестры,*
*Как плодоносит степь.*

Кажется, есть мелодия. Теперь он ее не отпустит. Мысль работает четко, ни одним лишним словом не нарушится ритм.

*В пути и песнях едина*
*Большая наша семья.*
*Я твой, сестра Украина,*
*Как ты навсегда моя.*

Кенен заторопился к дому. Гости встретили его шумно и радостно. Он сел на почетное место, ему подали домбру. Старик бережно взял ее и неожиданно резво ударил по струнам гибкими пальцами. Он повел мелодию. Все, кто был в комнате, удивленно молчали.

"Как интересна жизнь! Вы, умеющие читать книги, прочитали ли столько же, сколько я?" – домбра Кенена заставила вспомнить слова старого Джамбула. Акын слышит неслышимое, видит невидимое. Это приносит ему уважение и поднимает в глазах людей. Когда народ не умел ни читать, ни писать, акын был его словом. Неугодная песня вызвала гнев и немилость. Разве султан Баймагамбет не занес саблю над головой Шернияза, а тюре Тезек – над головой Суюмбая, когда акыны отказывались превозносить их в песнях? Разве царь не пытался в горячих казахстанских песках погубить пес-

ню Тараса Шевченко? А он, акын Кенен, может петь во весь голос, он будет славить акына Тараса и его народ, чьи песни – почетные гости на его земле...

Кенен оборвал мелодию и, спокойно перебирая струны, прикрыв глаза, запел:

*Сестра Украина знала:*
*В степях и песках у нас,*
*В Прикаспии, у Арала*
*Томился батько Тарас.*
*Душой не кривил ни разу,*
*Учил не бояться грозы.*
*В аулах поэта Тараса*
*Прозвали акын Таразы.*
*Вы к нам не из дальней дали –*
*Стал близким Тарасов шлях,*
*Вы нам в боях помогали,*
*В песне и на полях.*

Мухамеңджан Каратаев, не отрываясь, смотрел на лицо акына, на его чуть подрагивающие веки. Он знал его молодым, когда голос певца был сильным, и на лицо его было меньше морщин, и старость не гнула к земле плечи. Он смотрел на него, и ему казалось, что старик молодеет с каждой новой строкой и голос становится звонче, на лице появляется румянец. Человек молодел в песне, он жил ею. Это надо было видеть.

*Родная моя Украина,*
*Моя Украина-джан.*
*Здравствуй, Павло Тычина,*
*Салям, Микола Бажан.*

Акын разговаривал со своими далекими собеседниками, словно они сидели за одним столом. Рука, как крыло птицы, металась над струнами, взлетала вверх, пальцы застывали у самого кончика уха, чтобы расслабленными и нежными снова упасть на домбру.

*Я помню праздник аула*
*Песенного тепла,*
*Любовь к моему Джамбулу*
*На праздник вас привела.*

*Девятый идет десяток...*
*Я, скромный Кенен-акын,*
*По праву друга и брата,*
*По праву моих седин*
*Гостей, посланцев раздолий,*
*Днепра, Донбасса, Карпат,*
*Встречаю песней, хлеб-солью*
*Со всем Казахстаном в лад.*

Переводчик сидел, подперев голову ладонями, и, покачиваясь в такт, старался уловить и запомнить ритм. Однако, когда Кенен кончил, он успел первым обнять старика в знак благодарности:

– Хорошо, очень хорошо!

И все люди, которых собралось уже в комнате немало, зааплодировали. Здесь были чабан, тракторист, бухгалтер, учительница – всем песня пришлась по душе, все они ее приняли. Это то, что они сами сказали бы украинскому народу.

Кенен успокоился, когда убедился, что слушатели одобрили песню. Он вышел на улицу, в сад, и за ним вышли остальные. Вокруг Темирказыка медленно поворачивался небосвод. В опустевшей комнате показался трехлетний внук Кенена. В руках у него была маленькая домбра, такая старенькая и вся в заклепках.

– И-ех, - радостно сказал внук, - и-еех! – и ударил ручонкой по струнам.

Взбежала невестка, отобрала домбру и потащила мальчишку спать. Потом осторожно спрятала инструмент в шкаф. На старом сухом дереве ножом было вырезано: “Кішкентай Кенненің домбырасы”. Именно на этой домбре маленький Кенен спел почти 70 лет назад своего знаменитого “Бозторгая”.

Песню записали. Ее привезли в Алма-Ату и перевели. На следующий день в заштемпелеванном сургучом конверте степная песня на быстроходном самолете пересекла границу Казахстана где-то недалеко от Форта Шевченко.

В день открытия декады послание акына Кенена было напечатано на первой странице киевской газеты. Его прочла вся Украина.

Нет друга ближе, чем тот, кто подарил тебе песню.

* * *

Нет Кенена, нет Мухаметжана Каратаева, нет Алексея Брагина, нет моего незабвенного отца и некоторых других участников той встречи, свидетелем которой мне довелось быть много лет назад.

Но песня живет и по сей день.

Кенен Азербаев ушел из жизни в 1976-ом, когда ему исполнилось 92 года. Аул теперь носит его имя. Кенену, как и Джамбулу, был возведен мемориал. Память его почитают. 30 июня исполнилось 120 лет со дня его рождения.

# ТЕПЛЫЕ ЗВЕЗДЫ

## *Дмитрий Снегин и Мухтар Ауэзов*

Я не боюсь поставить рядом в своей памяти этих двух людей совершенно несопоставимых по судьбам и масштабам творчества. Один поэт-фронтовик, воспевший свое родное Семиречье, другой – классик с мировым именем.

С Дмитрием Федоровичем я встречался часто, работал в журнале Союза писателей «Простор». Тогда Д. Снегин был вторым секретарем Союза и возглавлял русскую секцию.

За Мухтаром Омархановичем я наблюдал со стороны многократно, будучи студентом отделения журналистики КазГУ. М. Ауэзов преподавал на казахском отделении. Тогда мы только что переехали в здание бывшего ЦК по улице Кирова, Лекции Мухтар Омарханович читал в бывшем зале заседаний этого большого партийного дома. Наши друзья казахские студенты, казалось, собирались туда со всех факультетов.

Когда Ауэзов заканчивал лекцию, его долго не отпускали. Так он и шел к выходу в плотном кольце студентов, часто останавливался и отвечал на их многочисленные вопросы.

«Абая» я прочел еще в школе и образы главных героев романа, отдельные его эпизоды роднят меня с юностью, потому как на всю жизнь впечатались в память, и заставили меня ближе понять людей, с которыми я жил рядом.

Великого казахского писателя уже при жизни называли «восточным Шолоховым», «Вторым Абаем», «наследником Толстого» и т.д. А эпопею «Путь Абая» сравнивали с «Илиадой» Гомера, романами Сервантеса и Дефо.

Запомнилось мне высказывание известного немецкого писателя Альфреда Куреллы, неплохо знавшего Казахстан, я даже записал его в свой дневник «Вы еще не

прочли «Абая»? Значит вы ничего не читали. Это невероятно, это удивительно! Степь ожила и пошла на вас во всем великолепии ее первоначальной природы, ее жестами и цельными характерами. А какие страсти, шекспировские! Вы ощущаете эпоху, как ни в одном научном исследовании. А какая поэзия! Ни одной прозаической строки в этих двух объемистых книгах напечатанных в форме прозы.»

Это мнение иностранца, прекрасно разбирающегося в тонкостях литературного мастерства.

Ауэзов ушел из жизни в год, когда я закончил университет – в 1961-ом. Но он на всю жизнь запомнился мне: высоколобый, спокойный, улыбчивый среди стройных джигитов – студентов, он, как мне казалось тогда, светился ликом своим и выделялся в любом окружении. Не мог я тогда к нему подойти, думал еще будет время – успею. Но не успел.

* * *

Но вернемся к Дм. Снегину. В Союзе у нас были с ним встречи по разным темам. Иногда после работы мы вместе шли вверх по проспекту Коммунистическому. С ним было интересно быть рядом. Он шутил, здоровался со знакомыми. Не чувствовалось разницы в его возрасте, заслугах, положении в обществе. Всегда и со всеми он общался на равных. Дмитрий Федорович был доброжелателен, открыт, искренне радовался встречам с друзьями и просто знакомыми, любил вспоминать и сравнивать, всегда интересовался здоровьем близких тебе людей. Потом уйдя на долгие годы в «Известия», я потерял Снегина из виду. И намного позже, став редактором экологической газеты, я все-таки решился позвонить к уже персональному пенсионеру, признанному патриарху русской литературы.

До этого я не раз обращался к знакомым литераторам с просьбой поддержать молодое издание, выступить на какую-либо конкретную тему.

Маститые ссылались на занятость, другие обещали, но ничего не делали, а Дмитрий Федорович сразу не от-

казал. Он подготовил нам статью о своем учителе, опальном профессоре – аграрнике А. Чаянове (Снегин до войны учился на факультете плодоводства алматинского СХИ).

Потом была публикация о старом Верном, стихотворения. Он написал для нашей маленькой газеты политическую подборку «В поисках экологической улыбки», которую мы опубликовали полностью.

Он не стал отмечать публично свое 85-летие в 1997 году. Но работать продолжал постоянно. И книжки, хоть и невеликие, с помощью доброжелательных издателей, ценивших автора, появлялись на свет. Тематика их была самая разнообразная: стихи «Венок абаевских сонетов», «Странные сближения или Вокруг Михайловского» – это о Пушкине. Он воевал на Псковщине, освобождал пушкинские священные места. Отсюда и ассоциации.

А как он красиво и ласково подписывал свои дарственные книги. К примеру: «Милый Эдик! Люблю, обнимаю. Память и жизнь в гармонии и надежде. Будь!» Или «На добрую память о днях под небом Алма-Аты, на месте которого всегда останутся «солнечные зайчики» многих дорогих сердцу друзей».

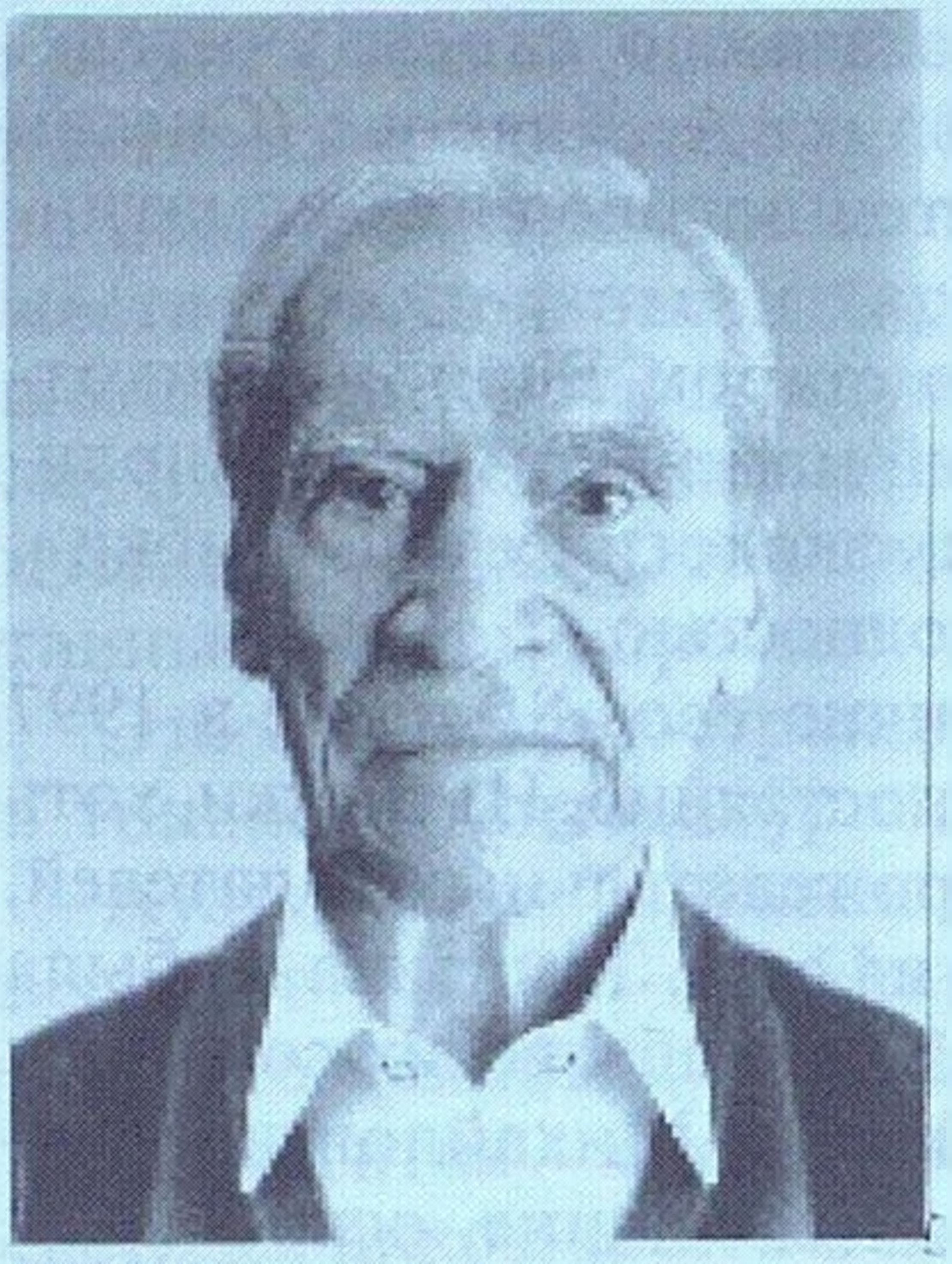
Для каждого этот щедрый человек находил доброе слово. С новым 2001 годом я его поздравил. Его отзывчивый голос не навивал тревожных мыслей. Но весной на 89 году жизни его не стало.

Последнее время он мало выходил из дома, но на просьбу о встрече отзывался доброжелательно. Помню как мы подолгу сидели в его уютном кабинете, в окружении книг и хороших картин известных нам казахстанских художников и беседовали не один час.

Он рассказывал как в начале 30-х годов с легкой руки редактора казахстанского литературного журнала, куда он принес свои первые стихи, его нарекли Снегиным (Фамилия его родителей – Поцелуевы). «Так проще и поэтичней», – заметил мудрый редактор. Так и повелось.

К любому творчеству, будь то литературная или газетная работа, он относился с уважением и пониманием.

У меня сохранилась коротенькая записка, адресован-



ная нашей газете по какому-то поводу: «Дорогой «Экологический курьер»! Ты сегодня самый желанный друг в нашей сложной жизни. Желаю тебе многолетия и процветания. Твой постоянный читатель Дм. Снегин. 17.03.1998 г.». И еще запомнилось его последнее почти знаковое стихотворение, которое я помню наизусть, написанное утром 28 марта 1999 года. Вот оно:

*Искусство слушать постигал я долго;*
*Далось не вдруг и ремесло молчать.*
*Но, возгордясь, я перенял у Волка*
*Способность догонять и убегать.*

*Вселенский Знак с тех пор во Мне лучится,*
*И горечи божественный Соблазн...*
*Не потому ль пытливая Волчица*
*С Меня не сводит первобытных глаз?!*

Один из эпизодов общения со Снегиным я хочу выделить особо.

28 сентября 1997 года исполнялось 100-летие со дня рождения Мухтара Омархановича Ауэзова. Пусть наша газета была и экологической и выходила не столь великим тиражом, но это большое событие мы не могли обойти стороной. Юбилей отмечался в рамках ЮНЕСКО. Воспитание чувств, экология души – это наша тема. И я как главный редактор не представлял номера без оригинальной публикации о великом мастере. Но кто ее может написать? Маститые критики, признанные соловьи литературоведческих трибун, исследователи классика едва ли отнеслись к нам серьезно.

Я обратился к Дмитрию Федоровичу. И память его оказалась светла. Снегина и Ауэзова связывала прочная незримая нить единомыслия. Я узнал много такого, о чем никогда нигде не читал и не слышал. Я включил диктофон. После расшифровки и оформления материала вот что из этого получилось.

## *Человек великой души*

*«...Учусь больше и охотней, чем учу»*

Это сказал Мухтар Омарханович Ауэзов, уже будучи признанным мастером слова, человеком с энциклопедическими знаниями. Вся жизнь его подтверждение сказанному.

Вспоминаю один из эпизодов. Сразу после войны, где-то в 1947-ом, вызывают меня в ЦК и предлагают поехать с писательской бригадой на строительство «Восточного кольца», объявленного народной стройкой

Эта шоссейная дорога должна соединить Семипалатинск – Усть-Каменогорск и пограничные районы Восточного Казахстана. Кто поедет? Мухтар Ауэзов, Габиден Мустафин, Павел Кузнецов. О таких попутчиках можно было только мечтать.

Итак, поездом мы добрались до Семипалатинска. Здесь Мухтар Омарханович выразил пожелание навестить и взять с собой знакомого акына Наурбека Баймуратова (у Ауэзова повсюду было много друзей).

Акын оказался огромным могучим красавцем, который внимал каждому слову писателя и называл его ходжой (святым).

После обязательного дастархана мы двинулись в путь на двух машинах.

Почти месяц провели во встречах со строителями. Выступали, задушевно беседовали у костров. Я заметил тогда – у Мухтара ни один час не проходил бесследно. Он все время был в жадном поиске, причем без всякой внешней суетливости. Его меньше всего интересовало, что там разглагольствовали на встречах офи-

циальные ораторы, его тянуло к тем, кто трудился на стройке с кайлом и лопатой. Его привлекало и мнение случайного пастуха, в юрте которого пришлось остановиться, и русского пасечника, у которого заночевали. Он обстоятельно спрашивал старика-пчеловода в чем секрет его здоровья, от чего он такой румяный и крепкотелый, несмотря на возраст. Пасечник рассказывал ему, как и от чего лечат медом, куда и когда пчела летит за взятком, а также разные жизненные истории. Мухтар слушал, кое-что записывал, как бы постоянно пополнял копилку своих наблюдений.

Однажды на одном из привалов он говорит: «Митя, ты что-то скупишься. Ты же поэт. Почему не радуешь нас новым стихотворением, которое у тебя, наверное, уже родилось по свежим впечатлениям?»

Это было его первое предупреждение, мол, молодой человек, не глазей праздно. На следующий день на отдыхе я прочел ему первые строки, рожденные в пути: «Там мохнатые бродят медведи, по-медвежьи ручьи говорят...»

Я написал тогда о «Восточном кольце» цикл стихов.

Сейчас, вглядываясь в прошлое, могу определенно сказать, что писатель не подхлестывал меня. Ему всегда было неловко кого-то в чем-то упрекать. Но за этой неловкостью, деликатностью крылось очень большое излучение, исходила хорошая творческая радиация.

Все это явилось для меня одним из первых ауэзовских уроков.

## *Он любил молодежь и она тянулась к нему*

Встречи наши начались еще до войны. Но это были порывы юности, когда Мухтар уже был высок в признании народа, а мы, молодежь, которой не минуло еще тридцати, табунились вокруг, как бы грелись в лучах его славы. Я вернулся с фронта в 1944 году, подорвавшись на мине под Ригой. Мотался по госпиталям, потом долечивался в Яны-Кургане Кзыл-Ординской области.

Времени для раздумий у молодого майора было достаточно. Тогда в 1945 надвигалось столетие Абая, и я решил посвятить ему цикл сонетов. До войны у меня уже вышло три поэтических сборника. Сонет написать вообще трудно, а цикл и подавно. Но мне казалось, что это именно та форма, где я могу выразиться. Я уходил поутру в степь, находил где-нибудь тенистый кустарник и, глядя в бездонное небо, размышлял. Так родился в Яны-Кургане «Венок абаевских сонетов». В Алма-Ате я прочел его товарищам. Однажды у меня на квартире раздался телефонный звонок: «Митя, это я, Мухтар. Что же ты скрываешь, что написал прекрасные стихи об Абае? Я прочел», - и он сказал несколько приятных слов. Мне стало немного неловко.

Поначалу непривычно было называть его Мухтаром, ведь писатель был старше на полтора десятка лет. Но так уж сложилось, не без его настояния...

Позже Мухтар Омарханович организовал в Академии наук, где он работал, чтение и обсуждение моих «Сонетов». Это было неожиданно. Я не привык к громким эпитетам, но воспринял все как большое благословение от великого мастера.

Когда я написал повесть о целине «Осеннее равноденствие», одно из первых своих произведений в прозе, то не торопился с изданием и решил дать почитать рукопись кому-либо из казахских товарищей. Там у меня проходил образ старика-казаха, и я волновался – удался ли? Мысленно перебрал всех знакомых прозаиков. Этот – всегда занят – не подступись, другой на словах не откажется, но по лености и необязательности не прочтет и т.д. Рискнул обратиться к Ауэзову. Ровно через три дня он позвонил мне ночью: «Извини Митя, что поздно беспокою. Я прочел твою повесть...»

Потом у нас состоялся долгий доброжелательный разговор.

Разве только ко мне он был внимателен и благосклонен? Ауэзов предвидел большое будущее Чингиза Айтматова, страстно рекомендуя его «Джамилю» на соискание Ленинской премии. Он благословлял Ануара

Алимжанова, Тахави Ахтанова, Олжаса Сулейменова...

Помню, как бросив все дела, он помчался в оперный театр прослушать тогда никому неизвестную Бибигуль Тулегенову, в которой увидел вторую Куляш Байсеитову – «соловья» Казахстана.

И такой он был со всеми.

## *Маяковский и Абай*

Декабрь 1954 года. В Москве после долгого перерыва проходил второй съезд советских писателей. Впервые приехало много иностранных гостей. Однажды, на исходе съезда, подходит ко мне Всеволод Вячеславович Иванов – большой друг Ауэзова: «У вас вечер свободен?» Я ответил утвердительно: «Часу в седьмом я заеду за вами». И больше ничего не сказал. Он любил делать сюрпризы.

Сижу в гостинице «Москва», жду. Раздался телефонный звонок. Слышу знакомый голос Мухтара: «Митя... ты? Спускайся ко мне в номер. Всеволод уже здесь». Ауэзом жил этажом ниже.

У него были гости. Я узнал их сразу: Луи Арагон и Эльза Триоле. Я не знаю, был ли прежде Мухтар знаком с супругами Арагон, но в те минуты они держались, как закадычные друзья. Русская речь перемешивалась с казахской и французской. Опуская подробности разговора талантливых людей, все дело в сюрпризе, который приготовил нам Иванов.

У подъезда нас поджидала машина. Мы не долго ехали по вечерней, незнакомой мне Москве, и, как выяснилось, оказались у квартиры-музея Маяковского. Нас встретили, посадили в кресло. Погас свет и на полотне небольшого экрана появились титры: «Барышня и хулиган».

Встреча с живым Маяковским всех просто ошеломила. Сегодня с этой лентой через телевидение знакомы, возможно, миллионы телезрителей, но тогда через год после смерти Сталина она была мало доступным откровением. Поражали глаза поэта – широко открытые,

устремленные. Как будто что-то мешало Маяковскому преодолеть невидимую преграду, выразить свои чувства и переживания... И он их преодолел.

После просмотра вспыхнула оживленная беседа. Все по-своему высказали одно – ценность подлинника в том, что он помогает ближе понять личность великого человека. Она как бы приближает к нам Маяковского и нас к нему...

Мухтар Омарханович слушал всех внимательно. Он умел слушать. Потом сказал: «Как это важно – достойно запечатлеть облик соотечественника, чтобы он жил в новых временах, новых поколениях. Но вы понимаете, чем крупнее личность, тем труднее ее запечатлеть в романе, на полотне, в киноленте... А если эта личность уникальна и судьба уготовила ей жизнь в обстановке тьмы, невежества и социальной несправедливости, того труднее.

...Как мне не достает в работе над романом достоверных портретов моего великого земляка – Абая?»

Только теперь собеседники Мухтара поняли, что волновало его в эти минуты, здесь, в квартире русского поэта за многие тысячи километров от казахских степей. Образ Абая никогда не покидал его. Он был всегда в его сердце, он жил им.

Помню, в конце вечера, он взял под руки Иванова и, казалось, отгородился от остальных своей широкой, чуть сутуловатой спиной, доверительно спросил: «Послушай, Всеволод, ты не знаком с антропологом Герасимовым?» «Знаком. А что?» «Я хотел бы с ним встретиться...»

Он тогда загорелся идеей воссоздать подлинный образ Абая с помощью ученых и художников, вскрыв его мавзолей.

Он подбирал сторонников этого дерзкого замысла, что, впрочем, было не так легко само по себе. Ауэзов возлагал на эту необычную акцию свои далеко идущие творческие думы и надежды.

Позже, видимо, какие-то обстоятельства заставили его переосмыслить задуманное и он охладел к своему

замыслу. А когда ему напоминали, хмурился и отходил в сторону.

Роман «Абай» вышел в Париже с предисловием Луи Арагона. Он бы и так со временем стал бы достоянием французов. Мне думается, что та памятная встреча на квартире Маяковского ускорила появление «Абая» во Франции.

## *Дружбу он ценил превыше всего*

Конечно, у Ауэзова, как и у всякого таланта, были не только друзья. Нападки и козни со стороны недоброжелателей всех степеней случались неоднократно. Но сегодня не хочется об этом вспоминать. Сам он никогда не говорил ни о ком дурно. Хотя и был легко ранимым. Помимо благородства в нем хранилось много мужества, скрытого в глубине души, которое помогало ему отстоять свое достоинство и видение мира.

Его внутренняя сила проявлялась во всем: в стремлении помочь, сочувствии чужой беде и непременной обязанности.

Помнится такая деталь. После войны все как-то соскучились по общению и тянулись друг к другу. Люди творчества часто собирались семьями, угощались чем бог послал. Такие посиделки проходили то у Ауэзова, то у Муканова или Тажибаева... Минут за пять до их начала обычно первым появлялся Мухтар со своей Валентиной Николаевной, потом приходил Абдильда Тажибаев и где-то спустя минут сорок объявлялся Сабит с Марьям, милой и остроумной женщиной. Мухтар незлобливо подструнивал над своим коллегой: «Сабит, ну сколько раз я тебе говорил, как можно так варварски терять время в общении с друзьями!».

В свое время ему пытались приписать националистические черты. Смею заверить – этого он был всегда чужд. Ауэзовым руководило великое чувство – вывести свой народ на горизонты мировой культуры. Что он и делал. Нишу, которую он, по современному выража-

ясь, занял в мировой культуре и литературе, никто никогда не заполнит, несмотря на все перестройки, реформы и изменение мировоззрения.

В театре оперы и балета имени Абая на торжества в честь его шестидесятилетия в 1957 году собрался весь цвет советской литературы. После доклада и приветствий выступил Мухтар Омарханович. Первыми его словами были: «Друзья мои, я среди своих сверстников первым перешагиваю порог шестидесятилетия. И говорю вам – это не страшно!» Зал встретил эти оптимистические слова аплодисментами. Ауэзов тогда уже был болен. Через четыре года его не стало.

* * *

Мало того, Дмитрий Федорович, покопавшись в своих архивах, извлек уникальный снимок, который вы видите. Он сделан в 1958 году в поезде Алма-Ата –Москва, когда участники Декады казахстанской литературы и искусства возвращались домой из столицы СССР.

На фотографии – известный писатель Николай Иванович Анов, Дмитрий Федорович Снегин и Мухтар Омарханович Ауэзов. Как молоды они были! Где-то рядом в этом же поезде ехал мой отец – Олег Васильевич. Он освещал декаду от «Казахстанской правды».

Снимок сделан ее же фотокорреспондентом Энгельсом Чиковани. Никого из них уже нет. Но книги и фотографии никогда не умирают, если они востребованы людьми.

В заключение поддаюсь искушению процитировать замечательные слова, сказанные о великом мастере Гарольдом Бельгером, известным критиком и хорошим писателем, знающим казахский, немецкий и русский языки. Он имеет большее право оценивать и сравнивать творчество великого мастера с высоты трех культур. «Много талантливых учеников и последователей оказалось у Ауэзова. Они оправдали надежды своего учи-

теля, выполнили его заветы, стали известными, именитыми писателями, признанными художниками. Но справедливости ради следует отметить, что ни один из них так и не вырос в подлинного, общепризнанного лидера большой многонациональной казахстанской культуры, не стал духовным вождем, истинным глашатаем великой правды, тем могучим чинаром, который, презрев личную корысть, чванство, спесь, самолюбие, житейскую суету и прочие человеческие пороки и слабости, устремил бы во имя славы, радости и гордости современников и потомков свою вершину в сверкающую высь всенародной, всечеловеческой любви и признания».

Ауэзов – это не только большая литература – романы и повести. Он написал десятки рассказов, новелл, очерков, статей о становлении культуры и развитии родного Казахстана. В его активе начиная от первой комедии «Енлик – Кебек» множество пьес, либретто опер «Абай», «Толеген Тохтаров». Мухтар Омарханович обогатил национальное искусство своими классическими переводами «Ревизора», «Отелло», «Укрощение строптивой», пьес советских драматургов, рассказов Л. Толстого, А. Чехова, Д. Лондона, романов И. Тургенева. На ауэзовских переводах «Ревизора» и трагедий Шекспира выросло несколько поколений талантливых актеров – гордости казахского искусства.

Но об этом подробнее рассказывается в следующем очерке.

Недавно поступило доброе известие - в издательстве «Жибек жолы» приступили к изданию по государственному заказу 50-томника собраний сочинений Мухтара Омархановича. Это уникальное издание наверняка станет энциклопедией культурной жизни казахского народа, его историей.

Но история, как известно, не делается без великих людей.

# СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК С УЛИЦЫ МИРА

## *Камал Кармысов на сцене и в жизни*

*"Камал родился для театра, а театр, похоже, рожден для него. На сцене Камал смог бы исполнить роль директора, министра, акима и даже президента, но трудно себе представить его таковым в жизни... Камалу суждено быть только народным артистом. И в этом он стоит выше всех акимов вместе взятых".*

**Абдильда ТАЖИБАЕВ,**
**народный писатель Казахстана.**

***Это трехэтажное здание на бывшей улице Мира (чуть ниже ул. Калинина) старожилы Алма-Аты знают, как "дом артистов". Здесь жили многие деятели казахского искусства. Кармысовы поселились в угловой квартире на верхнем этаже в начале сороковых и прожили в ней более полувека. Тогда Камалу не было и тридцати. Он был красив, черноволос и обаятелен. Никогда не уходил от мимолетного собеседника – будь то дворник или человек с высоким рангом. Стремление к общению и личная притягательность у него с детства.***

***Он всегда был узнаваемым, особенно среди казахской молодежи. И не только как театральный актер. Он***

*создал запоминающиеся образы в фильмах "Путь Абая", "Дочь степей", "Тревожное утро", "Алдар Косе"... 20 полнометражных лент с его участием увидели миллионы зрителей, 160 ролей на сцене. Его уважение и чистое трепетное отношение к театру были как утренняя молитва для верующего. Он жил искусством и не мыслил себя без него. И в этом было что-то близкое к жертвенности.*

*Иногда ему приходилось быть в сложных ситуациях. Много лет игравший на сцене легендарного и всеми любимого Козы в спектакле "Козы-Корпеш и Баян-Сулу", он показался в фильме "Поэма о любви" в роли его главного врага Жантыка. И родственники, и друзья, и зрители восприняли такую метаморфозу чуть ли не предательством. Одна казахская семья написала: "Мы смотрели картину и буквально плакали. Как вы, чистый, светлый душой Козы, могли превратиться в этого заядлого негодяя". "Получив это главное послание, я окончательно успокоился, – вспоминал К. Кармысов, – значит, я сделал все, как нужно. Ведь иная реакция означала бы неудачу". Такова была сила кармысовского перевоплощения.*

*Все, кто видел спектакли с его участием, как бы сливался с его героями. Об этом говорили все, кто часто видел его на сцене и в жизни.*

Он мне особенно запомнился после картины нашей юности "Наш милый доктор" в постановке Шакена Айманова. Там К. Кармысов сыграл обворожительного фокусника-волшебника. Помните, который проходит сквозь стену... Свою небольшую роль уже тогда немолодой актер преподнес с изяществом и гибкостью юноши. Популярности ему прибавило и ТВ. Его характерное лицо нередко появляется в сценах из спектаклей и фильмов.

Театр менял свое место, трижды переезжая в более современные и удобные здания: с улицы Дзержинской на Коммунистический, потом вписался своим ансамблем в проспект Абая. И все это время Камеке ходил пешком

на работу. “Даже в дождь его начищенные туфли сверкали”, - вспоминают сослуживцы.

Мы часто в вечерние часы прогуливаясь с моим отцом Олегом Васильевичем Мацкевичем, тогда заведующим отделом литературы и искусства “Казахстанской правды”, встречали Камала Кармысова. Они хорошо знали друг друга. У них было много общих знакомых и у аксакалов было о чем поговорить. Я не вмешивался в их неторопливую беседу и почтительно слушал.

Жизнь сложилась так, что я неожиданно сблизился с моими сверстниками – взрослыми детьми актера и узнал о его жизни многое, что остается за сценой. Но все равно человек, которого видишь на экране, оставался личностью загадочной и притягательной.

Я собирал тогда буклеты и редкие газетные вырезки, готовился написать о знаменитом актере при его жизни. Но не получилось. Камеке не стало весной 1991 года. Года он не дожил до своего 80-летия. Позже с его детьми мы не раз бывали на Кенсае, в верхней его части, где он покоится. Отсюда особенно в весенние дни хорошо видна белая кипень алматинских яблонь.

Семья, как полагается, через десять лет собиралась громко отметить 90-летие отца. Но в театре ограничились традиционным памятным бенефисом.

Вот уже второй год коллектив театра готовится к своему славному 80-летию, которое официально состоится в марте 2006 года. И, увидев недавно на телеэкране знакомое лицо Камала Кармысова, этого обаятельного и жизнелюбивого человека, я решился написать о нем.

Тем более, что жизнь старейшего актера так естественно слилась с историей театра.

## Начало пути

...Родился Камеке в 1912 году в селе Бериктас, что под Алма-Атой. Пятилетним мальчуганом остался сиротой на руках своей старшей сестры Бубукай, брата

Байтаса, женатого на русской, но свободно владеющей казахским языком. Так что приобщение к культуре двух народов у него складывалось вполне естественно.

Брат вытащил мальчишку из аула в город. Здесь на окраине он провел свое босоногое детство. Пас коров у купцов – платили по 10 копеек с головы. А Куляш Байсеитова (тогда Беисова), будущий "казахстанский соловей" для них же кизяк собирала. "Вот сойдемся мы, дети, напечем картошки и устраиваем свой театр – поем, танцуем, кривляемся", - вспоминал Камал Кармысов.

О зарождении национального театра разговор особый, но стоит на нем остановиться, чтобы понять становление Камала как актера и личности.

Раньше в Казахстане никогда не было профессионального театра. Да, были акыны, сказители, даже комики, в некоторых образах просматривались элементы театральности...

Правда, пытались просвещенные люди в начале прошлого века ставить любительские спектакли, но они со временем забывались.

Театр открылся 13 января 1926 года в Кзыл-Орде. До переезда в Алма-Ату он выдал 50 премьер (!). Откуда такой репертуар?

Тогда на фоне перспектив подъема национальной культуры для сцены писали многие, обладающие творческим дарованием: М. Ауэзов, Т. Жароков, А. Токмагамбетов, учителя Е. Ерданаев, К. Басимов, Р. Малабаев... Можно назвать еще и других дерзающих авторов.

Чаще всего молодые драматурги рассказывали о раскрепощении женщины, протестовали против принудительных браков, показывали как молодежь старается самостоятельно приобщиться к новой жизни и т.д.

На этом фоне и расцветал талант первых ведущих актеров, основанный на хорошем знании народного быта.

Тогда многим казалось, что национальное искусство должно строиться на основе старинного эпоса, народных игр, обрядов и т.д.

Но само время, ломало это представление. И немалый вклад в становление нового репертуара вместе с драматургами и режиссерами внесли молодые творческие силы, среди которых заметное место принадлежит и Камалу Кармысову.

Он пришел в театр в октябре 1931 года. Они вместе с Куляш шагнули на профессиональную сцену. И Камеке не покидал ее потом целых шестьдесят лет, до конца дней своих.

## Лучший Хлестаков в СССР

Каждая новая постановка казахского театра в те годы являлась большим событием и для актеров, и для зрителей.

Но особой вехой в признании национальной театральной культуры явилась первая декада казахского искусства в Москве в мае 1936 года. Посланцы Казахстана посещали спектакли москвичей, знакомились с творчеством крупнейших мастеров и одновременно получили должную оценку своего творчества у взыскательной публики.

На эти добрые времена поисков своего амплуа и выпадает расцвет творчества молодого Камала Кармысова. Сразу после декады ставится гоголевский “Ревизор”. На яркую роль Хлестакова претендовали многие. Но переводчик пьесы Мухтар Ауэзов, который присутствовал тогда почти на всех спектаклях и репетициях, уверенно сказал: “Хлестаковым будет Камал”. И классик не ошибся. По признанию критиков Кармысов был признан лучшим Хлестаковым на советской сцене. Подвижность, обаяние, юмор, хитрость, фривольность – все качества героя увидел зритель в игре молодого актера. За Хлестаковым следовали погодинский Швандя, Кудряш Островского... Эти образы заряжали зрителя неизменной положительной энергией...

Постепенно за Камалом утвердилась слава перевоплощения в отрицательные персонажи. Кого он

только не играл: и коварных баев, биев, волостных управителей, горьковского Барона ("На дне"), мольеровского Гарпагона в "Скупом", Яго в шекспировском "Отелло" и еще много других ролей.

Что касается Гарпагона, то по признанию известного в то время казахстанского театрального критика Н.И. Львова "Кармысову Камалу удалось создать замечательный образ, подняв на высокую ступень свое творческое дарование. Актер нашел яркие сатирические краски, чтобы обрисовать страсть Гарпагона к деньгам, его стремление казаться молодым... он довел горе и злобу Гарпагона до масштабов трагедии, отчего образ стал не только смешным, но и страшным". И эта высокая оценка творчества человека, шагнувшего на профессиональную сцену из самой жизни... Камал Кармысов никогда и нигде не учился театральному искусству, не заканчивал никаких студий и курсов, никогда не был за границей, но ментальность и его шарм поражали зрителей.

## Горячее время поисков

...В 1941-ом, когда Камалу Кармысову было всего лишь 29 лет, его творчество наполнилось новым содержанием. В Алма-Ату приехал из "Союзмультфильма" режиссер Борис Евгеньев, который отобрал несколько актеров для дубляжа советских фильмов на казахский язык. В числе них оказался и Кармысов. Предстояло озвучивание главных ролей в фильмах "Чапаев", "Ленин в 1918 году", "Ленин в Октябре", "Яков Свердлов".

Стоит добавить для несведущих, что тогда на селе не все хорошо владели русским, а в городе коренных жителей было не так уж много. Так что доступность всем слоям населения СССР знаковых фильмов советского кино рассматривалась не только с просветительской позиции, а скорее как акция политическая.

Камал с друзьями приехал в Москву 18 июня. Только начали работать – и началась война.

Конечно, все рванулись в военкомат. Но казахских актеров вежливо остановили: "Не волнуйтесь, разберемся, занимайтесь своим делом".

3-го августа участники дубляжа уже были в поезде, идущем на Куйбышев. Эшелон конвоировал военный самолет, прикрывая от нападения с воздуха. Их берегли.

В Алма-Ате Камеке ожидали несколько повесток из военкомата. Он немедленно явился. Его вместе с Аймановым, Тельгараевым и Огузбаевым обрили и сказали, что через три дня отправят на фронт.

Но тут случилось непредвиденное. Самый всесильный тогда в республике казахстанский секретарь ЦК ВКП(б) Жумабай Шаяхметов ходатайствовал перед военкомом о предоставлении брони нескольким артистам. Иначе бы театр пришлось бы закрыть.

Но недавние "призывники", отращивая волосы, испытывали устойчивую неловкость перед сверстниками, ушедшими на фронт, и старались погасить ее полной отдачей творческих сил. Пачками приходили похоронки, гибли друзья и знакомые. А на сцене казахского театра, как боевые операции, срочно ставили патриотические, антифашистские спектакли "В час испытаний" М. Ауэзова, "Песня победы" Е. Муканова, "Амангельды" Хусаинова, "Бдительность" Абишева, "Толеген Тохтаров", где Кармысов сыграл главного героя.

В 1942-ом году в Алма-Ату эвакуировали театр им. Моссовета. Сюда же переехали ведущие деятели кино. Здесь была создана единая Центральная объединенная киностудия страны (ЦОКС).

Разве мог молодой, но уже популярный артист казахского театра оказаться в стороне от творческих дерзаний больших мастеров русской культуры с признанными мировыми именами. Камеке с открытой душой шел навстречу к ним, и они отвечали ему тем же.

Это Камал Кармысов прочувствовал еще во время дубляжа "Чапаева" и ленинских лент. Тогда он близко познакомился с Бабочкиным, Щукиным, Роммом. Б.Бабочкин, исполнитель роли Чапаева, высоко оценив

работу своего дублера, сказал ему при встрече: "Камал, ты и внешне мой двойник...". В годы эвакуации казахские актеры подружились с режиссером театра им. Моссовета Юрием Завадским. Он присутствовал на репетициях, премьерах, обсуждениях, делал поправки и давал ценные советы. Педагоги ГИТИСа Ольга Пыжова и Борис Бибиков поставили в казахском театре "Укрощение строптивой".

Камеке сыграл в этом спектакле роль слуги Транио. Этот образ требовал легкости, гибкости и изящества. Молодой актер тогда, казалось, превзошел сам себя, он импровизировал фокусы, танцевал и даже закрутил сальто-мортале. Принимали его с восторгом. До 60 лет он искрометно выполнял на сцене этот трюк...

Но в жизни актер не был таковым. В общении, в быту и семье его видели уравновешенным и спокойным.

К. Кармысов вспоминает в одной из публикаций: "Григорий Львович Рошаль предложил мне сыграть в фильме "Песни Абая" хитрого и коварного, тонко образованного врага главного героя – Азимхана. Предполагалось, что это должен быть новый тип феодала, сумевшего уловить буржуазные веяния времени. Он подл, жесток, но исподтишка. Я робко возразил: "Но ведь сам я не подлец, я таких не люблю". "Ничего, – успокоил Рошаль, – будешь играть – полюбишь". И вот, помню, я только и думал тогда: как бы сделать так, чтобы зрители меня возненавидели? И, кажется, мне это удалось...

## Семья

Один мудрый французский философ высказал простую, но незаурядную мысль. Дескать, герой в глазах общества, любимец публики вовсе не является таковым для близких ему людей.

Ничего подобного даже при самом пристрастном внимании нельзя было обнаружить в жизни Камала Кармысова.

Свою жену – Ханшу от встретил, когда ему было 18. Шестнадцатилетняя девочка из Тургая впервые увидела

его на сцене и влюбилась. Их познакомили.

Родственники Ханши, занимавшие по тому времени высокие должности, сватали за нее "достойного" человека. Отнюдь не актера без роду, без племени.

Но властная доброта тургайской крови и темперамент семиреченского юноши сломили все преграды. Они поженились в 1931-ом. Долгое время жили в каком-то подвале без окон, отгородившись от соседей занавеской.

Вместе они прожили шестьдесят лет, вырастили пятерых детей, каждый из которых стал личностью, не затерявшись в жизненной суете: Венера, Мари, Арман, Арстан, Акбопе... Все они похожи, и чем-то отличительны друг от друга.

Венера стала популярной певицей, Мари – профессором французского языка, Арман в свое время был известным футболистом, играл в "Кайрате", когда тот выступал за высшую лигу... Арстан долгое время служил в президентском оркестре, сейчас заведует кафедрой в музыкальном колледже, Акбопе – доцент консерватории... Их дети, а затем и внуки, тоже потянулись к искусству.

Я попросил их написать несколько строк об отце. Первой откликнулась Мари Камаловна. Прочитав ее откровения, все остались солидарны. Вот они:

"...Мы не помним случая, чтобы папа повел себя грубо, бестактно по отношению к маме или к кому-либо из нас. Он проявлялся со своим мнением как-то незаметно, неброско, оставаясь при этом зримым во всем и везде, как солнце, которое всех обогревает, не заявляя о себе и не требуя ничего взамен...

Именно благодаря таким качествам у нас не было принято "воспитывать" в традиционном понимании: не было специальных разговоров о том, как надо себя вести, никаких поучений, а тем более нотаций. Все происходило как-то исподволь, ненавязчиво через трепетное и нежное отношение к каждому из нас.

В памяти всплывают сценки нашего детства. Актерам, как и сейчас, часто задерживали зарплату и

весь "дом артистов" выручал друг друга, кто чем мог. Нас естественно не баловали деньгами на кино, на мороженое, многие дети нашего двора их вообще никогда не видели.

Папа же завел ритуальное действо: на утро после получки мы (нас было тогда четверо) выстраивались у его кровати в очередь по старшинству: Венера, я, Арман и Арстан. Папа с его привычным возгласом "Ой, айналайындар!" (Ой, мои хорошие!) просил подать брюки и из своей небольшой "заначки" выдавал в зависимости от возраста по очереди 10, 7, 5, 3 рубля, вручая их как приз с неизменным объятием и поцелуем.

Его ежедневные утренние и вечерние согревающие, ласковые до щемящей сердце любви и нежности объятия нам не забыть и ощущать (как фантомные) до конца наших дней.

Мне трудно вспомнить, чтобы он кого-то охаивал, – нет, обо всех он говорил "Керемет адам!" ("Замечательный человек!"), а если кого, возможно, и недолюбливал, предпочитал о нем просто не вспоминать с каким-то тайным сожалением.

Он был оптимистом. В основном улыбался. Говорил: "Айналайын, айналайын!" ("Милый, любимый"). Всех старался погладить, успокоить. И все вокруг тоже начинали улыбаться. Папа был светлым человеком и все его любили, и он не обходил никого вниманием.

Камал Кармысов с детства знал Димаша Ахметовича Кунаева, иногда встречался с ним и в зрелые годы. Но эти встречи чаще всего ограничивались давними и дорогими воспоминаниями юности. Кунаев как-то даже сказал: "Камал, почему ты у меня ничего не просишь? Ведь каждый в чем-то нуждается..."

Но патриарх казахского театра, кажется, был доволен всем. Театр он считал своим вторым домом, а дети оказались вполне самодостаточными.

У Венеры муж – Гибат Мурзагалиев был видным партийным и общественным деятелем, старший его сын стал известным скрипачом, младший – дипломатом. Гибеке нет сейчас рядом с нами, но в день его рождения 13 января, под старый Новый год, в доме по традиции

собирается много друзей, чтобы почтить его память.

Муж Акбопе – народный артист Ануар Боранбаев, работал с Камеке в одном театре. К сожалению, он рано ушел из жизни.

Арстан женился на русской девушке Ирине, виолончелистке камерного оркестра городского акимата, их сын Руслан тоже талантливый скрипач.

Кстати, Ира – любимая сноха Камала Кармысова. Может, сказалось и то, что в детстве его какое-то время воспитывала жена брата – русская женщина.

...Соболезнование о кончине признанного народом артиста в свое время выразил Нурсултан Назарбаев. Он позвонил в дом Кармысовых. Разговаривала старшая Венера Камаловна.

Поэт Хамит Ергалиев сказал на проводах: "Камал, ты все отдал своему народу, ты больше ничего ему не должен. Это народ перед тобой в долгу..."

И народ не забыл его. Еще в 1946 году его наградили орденом "Знак почета". По тому времени очень большая награда. В 1957-ом ему присвоили звание народного артиста Казахской ССР, а потом он был отмечен и более высокими орденами, и государственной премией. Именем Камала Кармысова названа одна из улиц южной столицы на набережной Малой Алматинки у Дворца республики. На этой улице сейчас находится отделение "Казахстанской правды" в южной столице. И фамилия Кармысов сегодня навечно светится в адресе этой ведущей газеты в каждом алматинском выпуске. Это тоже очень хорошая память

Через 4 года ушла и Ханша. Так же тихо. Уснула и не проснулась. Их похоронили рядом на Кенсае.

## Чем живешь, театр?

Портрет Камала Кармысова в театральном вестибюле зримо напоминает о его присутствии, рядом с ликами великих казахских актеров –Калибека Куанышпаева, Елюбая Умурзакова, Серке Кожамкулова, Капана Бадырова и других достойных и признанных народом деятелей театрального искусства.

– Мы никогда не забываем своих "стариков" - основателей, - говорит нынешний художественный руководитель Есмухан Обаев. В нашей труппе богатый расклад поколений. Хадише Букеевой – 90 лет, а молодым – только за 20. Что называется, роли – от прадеда до внука. Но из почти восьми десятков актеров более половины – молодежь до 35 лет.

К своему юбилею мы готовимся уже второй год. Выпустили красочный альбом, готовим книгу. Кстати, на первых страницах ее запечатлен и образ Камеке. Мы память о нем как и о других аксакалах держим очень высоко.

Сегодня наш театр твердо стоит на ногах. Мы готовы поставить любые произведения классического наследия и современных авторов. Есть возможность и заказать нужную тему талантливым авторам.

В августе мы начинаем предъюбилейные гастроли в Южном Казахстане со своей исконной родины – Кзыл-Орды. Потом Туркестан, Чимкент, Тараз.... На следующий год – Павлодар, Семипалатинск, Усть-Каменогорск. Есть договоренность в юбилейном году выступить 20-27 июля в Москве в Театре Наций. Только нынче мы выпускаем 7 новых постановок.

И еще у меня одно сокровенное желание – к юбилею к полному имени нашего театра добавить понятие "национальный".

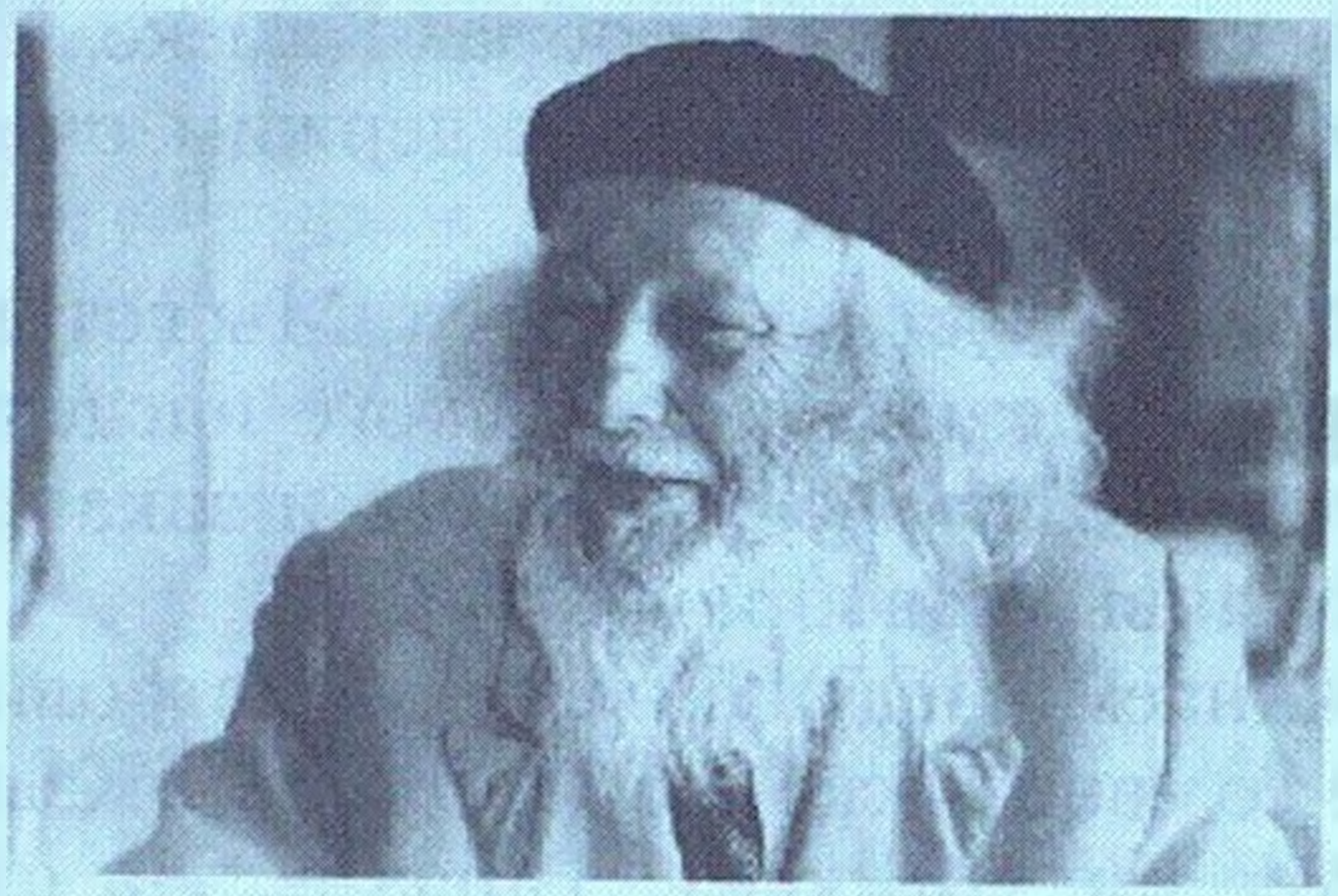
Сегодня диапазон нашего репертуара как никогда широк. От исторического спектакля известного литератора Калихана Скака "Казахи" и новой версии "Фархада и Ширин" в постановке Асанали Ашимова до шекспировского "Гамлета"...

...Есмухан Несикбаевич подарил мне театральный альбом с теплой надписью. Я нашел там много знакомых имен и хороших портретов. Среди них – образы дорогих мне людей: Камала Кармысова и Ануара Боранбаева, которых я хорошо знал.

Впрочем, как и многие почитатели их таланта.

# ПРИКОСНОВЕНИЕ К ВЕЧНОСТИ

## *Об Исааке Иткинде – великом скульпторе*



*И. Иткинд был темпераментным собеседником. Его речь была наполнена теплым юмором: «Хотя художнику следует идти в ад, мне нельзя у меня астма, а в аду так много дыма. О, если я попаду в рай, то обязательно буду работать, ведь там отличные райские деревья и много обнаженной натуры».*

В жизни тогда у меня еще не было лично знакомого скульптора, хотя я в молодости увлекался живописью и кино и встречался с художниками, режиссерами, которые тоже в шестидесятых годах, этого ренессанса советского времени, благоприятные для творческого подъема, делали свои первые шаги в искусстве.

Молодости свойственно или чересчур возносить или неоправданно ниспровергать таланты. И поэтому, тогда один из моих товарищей майским воскресным утром заехал ко мне на большом сверкающем лимузине с открытым верхом, предназначенным для киносъемок и сказал, что он готов познакомить меня с великим скульптором, именно великим – так он подчеркнул, - я, мягко говоря, выразил свое недоверие. Но он убеждал и настаивал, чтобы мы поехали немедленно.

Тогда, четыре десятка лет назад, я мало что знал о человеке, к которому хотел повезти меня товарищ, хотя и в то время о старом мастере уже стали понемногу писать и говорить, а редкие персональные выставки его

работ становились событием и праздником для знатоков и ценителей его таланта. Я не был ни тем, ни другим, потому что никогда не видел его работ, разве что на репродукциях.

Но меня взволновало и заинтересовало тогда другое: молодежь собиралась снимать фильм об очень старом человеке. И режиссер, и оператор, и композитор – все были довольно молодыми, им не исполнилось еще и тридцати. Они годились даже не в правнуки, а в праправнуки своему герою, которому тогда уже было девяносто пять лет.

Между скульптором и киногруппой лежали поколения с наслоением художественных школ и течений. Для меня тогда, сотрудника молодежной газеты, было по-журналистски интересно: сумеют ли эти горячие парни передать мир и глубину творческого мышления старого художника, и как он сам воспримет их как объект пристального и неожиданного внимания.

Теперь я безмерно благодарен своим друзьям, которые познакомили меня много лет назад с этим необыкновенным человеком. Лента, которую они сняли о старом мастере была единственной. Ее имели возможность увидеть зрители во многих странах мира. Она называлась «Прикосновение к вечности».

Сегодня я вспоминаю время ее создания, встречи с мастером, обо всем, что запомнилось.

* * *

...Старый человек медленно шел по дровяному складу. Он ощупывал взглядом шершавую, израненную временем кору, оторванные от земли узлы корней. Иногда человек особенно долго стоял перед лежащим обрубком дерева, разглядывая его со всех сторон, и уходил. Потом появлялись люди и увозили тяжелый срез бревна, у которого стоял седой человек.

Груз глухо падал на землю в маленьком палисаднике, и соседние ребятишки, переглянувшись через шаткую изгородь, заглядывали, чего там опять привезли старику.

Киношник пришел к Исааку Яковлевичу Иткинду в сырой февральский день и после беседы, которая проходила несколько часов, откровенно удивился человеку, который в свои годы сохранил силу духа, обаяние и неиссякаемую любовь к жизни. Постановщик начал открывать для себя героя будущего фильма и каждая новая деталь, каждая подмеченная черточка в его характере заставляли удивляться и думать.

– Вы знаете, это Микеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи... Да, да, они схожи по духу, – говорил потом возбужденно он друзьям и тащил сомневающихся в республиканскую художественную галерею. Они стояли перед скульптурным портретом женщины, у которой лицо дышало теплом и мыслью, губы в дереве улыбались иронически надменно. Каждый по своему воспринимал, и, что важно, это восприятие не было единым. Из наплывов карагача смеялось вслед уходящим лицо женщины, полуприкрытые ее веки будто скрывали какую-то великую тайну, которую мог заложить в материал только большой мастер и философ.

Нельзя судить о творчестве по вещам, если не случайным, то просто оказавшимся под рукой. Наверное, чтобы создавать прекрасное мало одного вдохновения, надо всем сердцем прочувствовать то, что хочешь передать другим, надо обладать мастерством во много раз большим, нежели востребовано каждой конкретной работой.

...Восемь изваяний в казахской галерее, две-три – в комнатушке у скульптора, постоянные участники бесед киношника и мастера, несколько просыпающихся кусков дерева в сарайчике, заменяющем мастерскую, - вот, пожалуй, и все, чем наглядно располагал постановщик фильма.

А у старого художника есть работы в лучших музеях мира и в частных собраниях в Москве, Ленинграде, Париже, Копенгагене, Стокгольме и Нью-Йорке. До революции скульптуры Исаака Яковлевича Иткинда

украшали выставки Союза русских художников, и известные меценаты охотно скупали его необычные творения. Живое дерево Иткинда кричало в те годы о трагедии еврейского гетто, а застывшие в судорожном движении губы пели скорбные иудейские мотивы. Исаак Иткинд – певец мудрой скорби.

После октября в порыве веяния времени он создает скульптуры рабочих, бюсты Маркса, Энгельса, Ленина. Художник не мог уйти от действительности, окружавшей его.

Позже появляются композиции «Испанская инквизиция», «Коричневый фашизм», «Голова композитора Маця, убитого фашистами».

Он был и остается сыном земли, ее великим гражданином, поэтом и художником, создающим образы библейской силы. Почти осязаемые сновидения «Сонной Улзы», загадочной женщины, дьявольская улыбка Паганини, запечатленная в дереве, прописали имя создателя этих образов навечно в памяти потомков.

Чем чаще общались с мэтром молодые киношники, тем больше им хотелось узнать об этом человеке – загадке. Молодые киноработники едут в Москву, в Ленинград, ищут людей, знающих Иткинда, больше надеясь на счастливый случай. И удача улыбнулась им в лице Александры Федоровны Гупиус, которая в молодости хорошо знала скульптора. Более тридцати лет бережет она «Автопортрет» Исаака – рвущееся из куска дерева, энергичное, смешливое, немного дерзкое лицо, будто окрыленное открытием...

– Это был редкий, редкий добрый человек, – и от неожиданных воспоминаний на глазах у старой женщины навертываются слезы.

– Почему был? Он есть, он живет и работает в Алма-Ате..., – сказали тогда гости.

Для нее это звучало откровением и чудом.

В Эрмитаже достали из хранилища выполненную в воске работу «Умирающий Пушкин». Она выставлялась еще к столетию со дня смерти поэта. Сохранилось

высказывание одного из современников:

«Выдающимся я считаю изображение Пушкина в последний час его жизни... Оно оставляет глубокий след. Эта работа, по-моему, по психологической трактовке не превзойдена ни одним художником с пушкинского времени по нынешнее время».

А на табличке надпись: «И.Я. Иткинд. рожд. 1871 г.»

«Нет, я не хочу умирать. Я тогда просто с ума сойду от скуки, а мне нужно работать», – говорил этот седой пророк, и люди, узнавшие его близко, в который раз удивлялись беспокойству маленьких коричневых рук и нестарческим пытливым глазам, жадным к новым лицам... Он мог видеть человека через линии губ, подбородка, через строение мышц, через мысль, прочитанную во взгляде. Весь мир он делил на «добро» и «зло», а людей ценил по содеянному ими. Недаром фашизм он изобразил в виде жуткой бешеной химеры: человеческое лицо со звериным оскалом, ибо зло порождается самим человеком.

– Я уважаю русский народ за то, что если он добр, то добр до конца. – Хотя его большими друзьями были люди разных национальностей.

В те далекие годы, когда молодая Советская республика только вставала на ноги и дралась, на нескольких фронтах люди страдали от голода, меценаты из-за океана предлагали Исааку Иткинду перебраться в Штаты. Кое-кто из его сотоварищей уехал, а он отказался: «Я здесь стал человеком и новая власть не унижала меня, а скорее наоборот...».

До революции, будучи уже признанным, он скитался по разным углам и ночевал, где попало и как попало, потому что евреи не имели права на местожительство в больших городах. Художник величайшей интуиции, в пору своей зрелости он особенно нуждался в творческом общении. Он нередко поражал окружающих не только великой своей работоспособностью, бескорыстностью и непонятной легкостью, с какой он расставался

иногда с отличными скульптурами лишь для того, чтобы освободить место для новых. Он раздаривал их, с годами как бы забывая о своих детищах.

Работать, работать, работать... В труднейшие дни своей жизни, не имея под руками другого материала, он лепил крошечные скульптурки из хлебного мякиша, даже если оставался голодным.

Раввин, до двадцати шести лет изучавший талмуд, он исступленно отдавался искусству. И в этом исступлении – крик души человека, вырвавшегося из шоломалейхемовской толпы, плач по убитым в погромах, призыва к разуму и справедливости. Последний мотив проходит тонкой лиричной мелодией через все его творчество.

«Не хочу хвастать, – мы не богаты. Было в нашей семье немало бедняков, ну что ж, им помогла община: дяде Песаху пришлось совсем плохо, так он пошел с тетей Ципой просить милостыню...

...С каждым человеком бывает, что у него тяжело на сердце. Но люди имеют друзей, им есть перед кем излить душу. Я же был одинок, точно камень...».

Это начало одного из рассказов Иткинда, опубликованного в тридцатые годы в ленинградском журнале. Горечь переплетается с юмором, простотой, открывающей незаурядное чутье к слову.

– Когда я буду совсем старый и не смогу работать с деревом, я стану писать, да, да.

Но он, почти столетний, считает себя не таким уж старым и продолжает работать. В маленьком дворике, в фанерном сарайчике под вишнями он создает вещи не менее поэтичные и удивительные, чем в пору своего расцвета. Он так же как и раньше живет своим великим воображением и интуицией, но, как всякого художника, его тянет к культуре, хотя круг его общения не очень велик, и он уже не может видеть то, что видел раньше.

Портрет соседской девочки Оли выполнен в глине и переносится на дерево.

– Это очень хороший девочка, – Иткинд говорил с

небольшим акцентом, – это очень гордый и серьезный девочка, вы посмотрите, как она думает...

Для Исаака Иткинда важно, чтобы его скульптура думала, несла заряд мысли. И неважно, аллегория это или портрет девочки, которая каждый день идет в школу мимо его дома.

Пока парни из «Казахфильма» бились над лентой о старом скульпторе, Иткинд успел вылепить портрет кинооператора Виктора Осенникова. Он выполнен в простой реалистической манере, портрет тоже думает.

Как я уже говорил, Исаак Иткинд с пристальным интересом приглядывается к новым лицам, и, если человек ему понравился, он, прервав разговор на полуслове, предлагает:

– Хотите, я вас буду лепить. У вас есть время?

Почти столетний скульптор вглядывался в лицо нового поколения, в лицо новой мудрости и старался разглядеть ее. Он уважает людей ищущих, он полюбил ребят из киностудии отнюдь не за то, что о нем снимают фильм, а за то, что они ищут, они думают, они сомневаются и находят и потому должны остаться молодыми. Ведь цветущие деревья выглядят молодыми даже в старом саду.

Нет, нет, он не собирается умирать. «Хотя художнику следует идти в ад, мне нельзя, у меня астма, а в аду так много дыма. О, если я попаду в рай, то обязательно буду работать, ведь там отличные райские деревья и много обнаженной натуры».

Таков он, Исаак Иткинд, человек, прошедший через эпоху, человек, которого хорошо знали и ценили Горький, Луначарский, академик Павлов.

Страничка к страничке, кадр за кадром, – все, что могли обнаружить, собирали создатели фильма о своем герое. Они, молодые, уже знали о жизни скульптора гораздо больше, чем он сам мог вспомнить. Любая мелочь, любая малоизвестная деталь его биографии были очень важны для общего настроя, для лейтмотива маленькой

картины, которая промелькнет на экране всего за десять минут. Опасно сфальшивить, неверно истолковать замысел. В каждой работе скульптора скрыта была большая мысль, и в волокнах теплого дерева только вдумчивый и талантливый человек мог прочесть затаенную, спящую мелодию. И творческая группа пыталась это сделать. Каждый для себя. И все вместе.

Композитор, тогда тоже еще очень молодой, Эдуард Богушевский пишет музыку к фильму. Он не раз и не два приезжает к почти столетнему скульптору, видит, как колдуют над куском дерева его необычно молодые руки, слушает его неиссякаемые притчи. И где-то очень рядом, среди застывших в дереве песен, среди цветущей вишни, рядом с белым, как лунь стариком, который, щурясь на весеннем солнце, бродит по своему крохотному палисаднику среди поверженных кусков карагача, витает пока что робкая и неслышная музыка.

Он услышит ее ясно для себя, когда в просмотровом зале они с режиссером впервые увидят немую ленту, родившуюся из многих сотен метров, отснятых Виктором Осенниковым. Они будут напевать ее и спорить о чувстве и разуме, обжигая пальцы о скуренные сигареты.

А через несколько дней зазвучит музыка, сильная и сочная, мелодию поведет орган, торжественный и величавый, и жалобный голос кларнета, и пиццикато скрипок принесут вдруг азиатский мотив – и застывшие мудрецы, и восточные философы, и умирающий Пушкин, и загадочные красавицы вместе с мелодией повернутся лицом к зрителю.

Настало время, когда парни сказали: пора. Они поехали за своим мудрецом, с которым подружились и которого полюбили. Они, бережно поддерживая его под руки, вели вверх по лестнице в просмотровый зал киностудии, а Исаак Яковлевич, останавливаясь на минуту перевести дыхание, успевал пошутить: «А что, небо еще далеко?»

Они оставили его наедине с экраном. И рядом была только его жена, которую студийцы привыкли называть просто тетя Соня.

Создатели фильма сидели по разным углам зала, каждый смотрел и слушал экран и проверял себя.

Фильм «крутили» два раза.

Старик сказал свое «добро».

А как сами авторы?

– Общение с Иткиндом дало нам огромный заряд, злость в творчестве. Его жизнь – это пример служения искусству, его великой правде. Мы будем очень рады, если донесем эти чувства до зрителя.

Это были не громкие слова.

...После просмотра старый скульптор шел через большой студийный двор. Он шел не торопясь, вглядываясь в молодые лица, которые окружали его. Садясь в машину, он простился со всеми, кто был рядом, и еще долго приветливо махал своей серой шапкой.

Всю дорогу до дома он о чем-то думал, глядя на бегущие мимо стволы деревьев. Приехав, он сразу пошел в свой палисадник и долго стоял, уткнувшись тростью в срез старого карагача, лежавшего под цветущей вишней.

А дети, перегнувшись через ограду, гадали: что там снова задумал глуховатый старик.

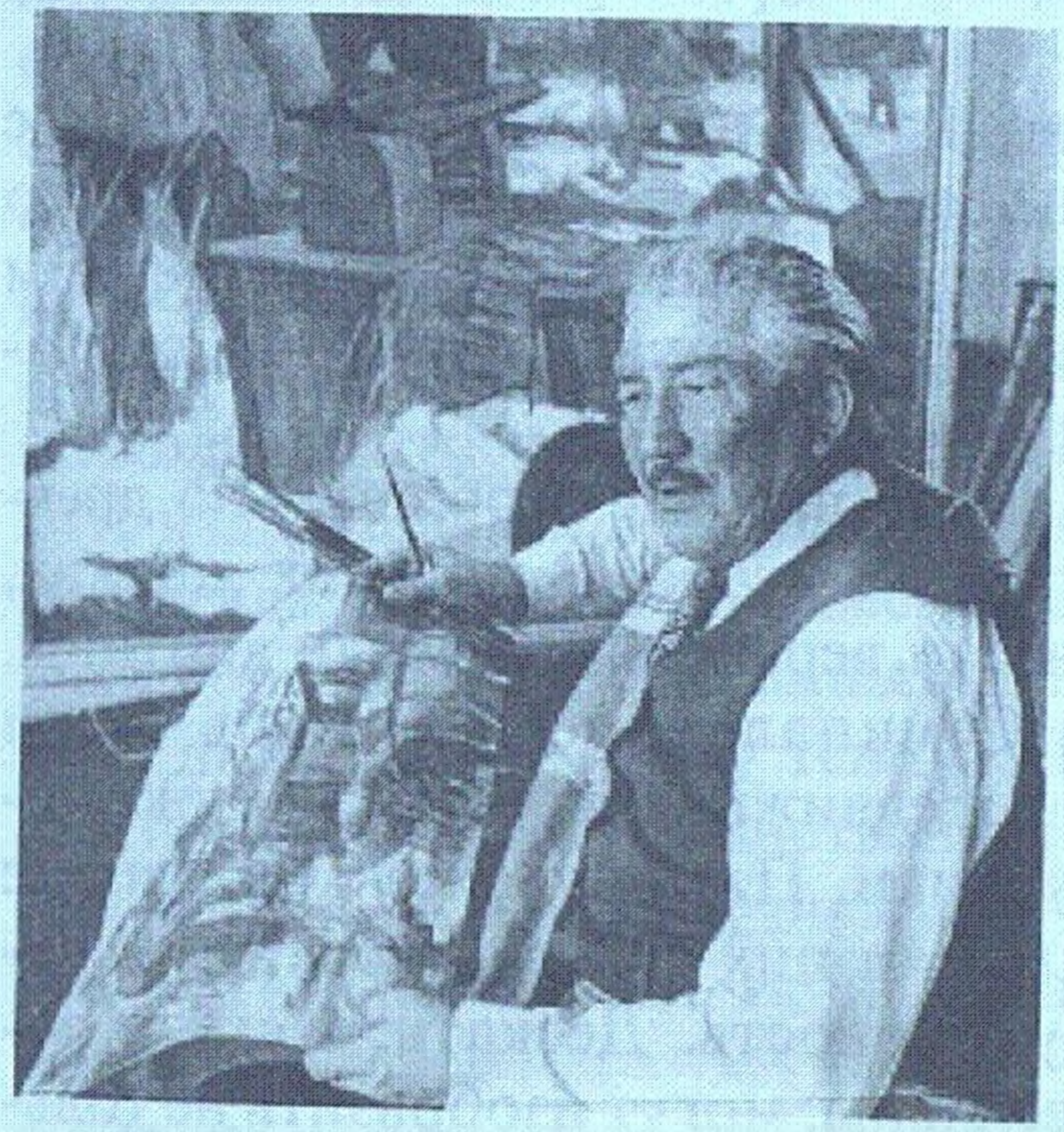
...Когда скульптора уже давно не было на свете, я увидел его работу в одном из залов Казахского Государственного музея искусств им. А. Кастеева. Это была «Голова старика». Я долго стоял рядом и думал о мастере, чьи творения намного переживают жизнь создателя, какой бы долгой она не была. Это всегда очень важно.

# ВОЗВРАЩЕНИЕ

## *Одиссея Аубакира Исмаилова*

*Человек на склоне дня*
*Розовым, Лиловым*
*Пишет белого коня*
*Сам белоголовый...*

*(“Художник” Л. Кривощеков – А. Исмаилову)*



Заночевали мы у егеря на крутом берегу Или. Над рекой висела белая луна и стыла на черной воде. Издалека слышался короткий всплеск: то ли обрушился подмытый берег, то ли играла в омутах крупная рыба.

Сон сморил почти всех в сторожке, но только один Ауке ушел к реке ставить удочки. А потом, Бог знает, в какое время он разбудил всех радостным криком и в желтом луче, падающем из окна, показывал каждому маленького, скользкого судачка, дрожащего на короткой леске.

– Ты посмотри, посмотри, какое чудо, – возбуждаясь, говорил он, буквально вытаскивая меня из дома. Ночная прохлада сняла сон. Над головой низко висело высвеченное звездами небо, притушив краски земли. И только река, одна река, казалось, делила пополам Вселенную.

– Я непременно напишу это, – горячо говорил он и сокрушался, что невозможно ему работать сейчас, сию минуту. А ведь ему уже исполнилось 60. В родном краю он - человек известный. Аубакир Исмаилов – заслуженный деятель искусств республики, один из основателей Союза художников Казахстана.

Торопились тогда мы в Балхашский район по делу важному и волнующему. Аубакир-ага несколько лет назад завез в Баканас десятки своих работ. Это составило основу сельской художественной галереи. Баканасцы вновь стремились встретиться с Исмаиловым, тем более, что в райцентре открывался Дворец культуры. В этом событии должен был принимать участие молодой искусствовед Саша с милой фамилией Синенький, выпускник Ленинградского художественного института имени Репина.

Вставать нам приходилось рано, но, вернувшись с берега ночной реки, мы все же проговорили до бледного неба. В окна били мелкие песчинки, поднятые утренним ветром, а мы мысленно брели с караваном; по горбатым холмам Сары-Арки.

...Не шелк и парчу несли важные верблюды по древней тропе из Кульджи и Кашгара. В плоских ящиках, перевязанных волосяными веревками, лежали картины. Так, в 1928 году, из Семипалатинска в глубь степи отправлялась первая передвижная выставка Наркомпроса Казахской республики. Пять художников взяли с собой немало работ. Среди них был и Аубакир. Узункулак нес неслыханную новость. Дескать, в степи появились люди. Они всесильны, могут изобразить не только самый затейливый узор для кошмы, но и коня, даже человека. За такой грех по законам шариата можно лишиться не только рук, но и самой жизни.

На сером войлоке юрт художники вывешивали акварели и рисунки, портреты казахов – рабочих и пастухов, иллюстрации к народным эпосам, неброские краски ковыльной степи. Многие видели это впервые. Аубакира окружали джигиты и девушки. Он играл им на дом-

бре, и листы художников к восторгу зрителей как бы оживали, и домбра переходила из рук в руки. Затянувшиеся допоздна встречи становились праздником, а уходящий необычный караван еще долго будоражил воображение аульчан.

Аубакир, которому тогда было лишь 16, много рисовал на привалах и стоянках, не выпуская из рук альбома. Для аульных ребятишек это было чудом, предметом восхищения и зависти. Но для начинающего художника время странствия по степи явилось началом безудержной жажды поиска иного, глубокого видения, этого близкого, понятного, а порой и сурового, мира.

Отец его, карагандинский шахтер, погиб в гражданскую. Мать, чьи золотые руки могли выделывать удивительные по цвету ковры и узорные кошмы, научила его понимать, что великий творец всего прекрасного на земле -это сам человек. И не Аллах дает ему умение, острый глаз и твердость руки, а только труд и благородное желание без гордыни постичь от достойных людей мудрость мастерства.

Подводя итоги передвижной выставки, газета "Смычка", издававшаяся в двадцатые годы в Петропавловске, писала: "Эти еще не совсем уверенные работы самоучки обращают на себя внимание. Прежде всего, Исмаилов пишет родную ему тему об ауле. И он знает этот аул прекрасно. Это единственный на выставке художник – казах. Очевидно, он будет учиться живописи, и это ему нужно сделать. Из него получится хороший мастер".

За ту памятную караванную выставку он получил самые дорогие подарки – краски и свой первый костюм, а также направление на учебу.

...Омск, Москва, ВХУТЕМАС, лекции Луначарского, выступления Маяковского. Занятия у крупнейших мастеров советского изобразительного искусства: Фаворского, Моора, Гончарова открыли перед ним двери в прекрасное неведомое. И он торопился познать его с

ревнивой жадностью. Помня слова матери, он близко принимал к сердцу человеческую мудрость.

Есть у казахов легенда о Коркыте. Этот человек не мог смириться с неизбежностью смерти и ушел от людей. Но ни горы, ни степи, ни леса не смогли задержать его в своей вечности. Тогда Коркыт выдолбил из дерева первый кобыз и наиграл на нем первую мелодию. Так он нашел бессмертие в искусстве. Мелодия и слово были для казахского народа, долгое время не имевшего своей письменности, призывом к жизни, оружием и жалобой, учителем и другом.

Аубакир вернулся домой из Москвы окрыленным, его кисть и карандаши, краски жизни - вот его кобыз. Он хотел показать людям обновление степи не словом и мелодией, а на холсте и бумаге.

Вечером в клубе Александр Синенький, тогда 26-летний искусствовед, рассказывал чабанам и охотникам, рисоводам и школьникам о творческом пути Исмаилова.

Синенький говорил о поэтическом восприятии, оптимизме и жизнеутверждающем творчестве художника. В заключение он сказал: "45-летний путь Исмаилова – это, по сути дела, возраст всего изобразительного искусства Казахстана".

Ауке сидел в президиуме и чувствовалось, что ему несколько неловко в этой торжественной обязательности: он то сосредоточенно покашливал в кулак, то приглаживал правой рукой шапку седых волос. А Синенький-то, в общем, в своем выступлении ничего не преувеличил. Исмаилов - живая история.

В Алма-Ате, в своей небольшой квартире на улице Маншук Маметовой, Ауке показывал мне свои работы. Рисунки и акварели хранились не по времени и географии. Вот, к примеру, иллюстрации к первому эпосу "Камбар-батыр" (1930 год). Рядом - "Жайляу у Хан-Тенгри" (1959 год), "Буровые вышки Мангышлака" (1970 год), "Ликвидация неграмотности" (1932 год), карикатуры для сатирических журналов, эскизы и зари-

совки с конференции писателей стран Азии и Африки. Надо было видеть, как он рассказывал, как много доброго и светлого проявлялось в его памяти, за каждым листом ватмана с поблекшими от времени красками, за каждым карандашным наброском... Он вдруг брал домбру и, прикрыв глаза, тихо напевал строки из эпоса:

*"Если ты не стар душой –*
*Батыров подвиги воспой,*
*Чтоб перешел из рода в род*
*Деяний их пример живой".*

– Откуда все это, Ауке? Ваше сочинение?

– О-о, – прижав ладонью струны, заговорил он. – Здесь, в этой седой голове еще с детства хранится много песен... Но сложней запомнить, даже художнику, цветовую гамму природы. Например, Мангышлака. Это зной, марево, воздушные гармонии цвета. Вы думаете, что этот рисунок отражает охеро? Нет. Это выступила соль и нефтяные вышки стоят, словно в воде. А вот "долина джейранов", сороковой год. Тогда я в кустах укрылся и писал с натуры. Какое это счастье! Сейчас там Сухатинский совхоз со своими отарами, утепленными зимовками. А вот люди, какие люди!

Он выставлял лист за листом, отходил, прищуривался, отводил меня, заставлял смотреть именно с той точки, которая в свое время виделась ему. Вот красные скалы Капчагая и угольные карьеры Экибастуза. Голодная степь и целинные земли... Байконур и Караганда.

Каждая его акварель имела свой конкретный адрес, за любой стояли полюбившиеся ему люди. Но он не просто фиксировало события. И когда закончилась встреча в сельском клубе и были сказаны положенные в таких случаях добрые слова, Ауке внес предложение участвовать в репетициях народного театра. В ответ послышалась овация.

Ставилась пьеса из прошлого казахского аула. Были в ней драматизм, традиционная любовная интрига, схватка джигитов по этому поводу. Все старались громко и темпераментно выкрикивали реплики, но когда дело

дошло до схватки джигитов, возмутился Ауке. И сам сыграл эпизоды предполагаемой отчаянной схватки. Ауке двигался по сцене мягко, по-кошачьи, развернув плечи, словно орел крылья, готовый вот-вот броситься на противника. Не было сбоя, не было напряжения, но все увидели настоящуюборьбу.

Но у режиссера Нискен Кобжасаровой, выпускницы Жамбылского культпросветучилища, возник иной интерес: артистизм гостя. Ведь Ауке-ага, будучи студентом ВХУТЕМАСа, снимался в кинофильмах "Путевка в жизнь" и "Нравы в Малиновке".

Впрочем в годы войны, когда в Алма-Ату были эвакуированы ведущие киностудии страны, Исмаилов работал в группе с Семеном Михайловичем Эйзенштейном. Художник оформил для "Ивана Грозного" часть картины, связанной с жизнью народов Востока. И не раз ему приходилось гримировать для съемок фильмов и спектаклей казахских артистов и студентов.

...Конечно, Балхашский район не очень далек, но его жители подчас именуют его тупиковым. Прижался он к берегам реки Или, к ее густым тугаям и камышовым джунглям. Здесь сеют рис, разводят овец, коров и промышляют ондатру. Правда, старики говаривали, будто последнего тигра видели здесь еще в тридцатые годы, а кабанов и разной прочей непуганой дичи всегда предостаточно.

Строгая красота Семиречья, его многообразие с детства радовали и удивляли Исмаилова. Барханы и лощины, заросли тальника и джангила, близкие Сары-Кумы, переходящие в горячие степи Прибалхашья и в Сары-Арку. Все, что уживалось даже в видимой дали, было частью его родины, землей, где он родился. Он как бы открывал ее заново в поисках оттенков ее красоты и героики.

Я не раз видел, как он писал акварели на берегу реки Или. Ауке стоял на пологом холме. Широкий разлив реки подмывал тугаи, тронутые холодом поздней осени. Большое малиновое солнце на горизонте погружалось

как в океан, в длинное и плоское облако. Но старый художник работал со страстью юноши. Натура и свет настолько увлекли его, что он, как мне показалось, весь дрожал от радостного возбуждения, почти осязаемого цвета, слитности с нераздельным видимым миром.

Это было в километрах 60 от Баканаса, неподалеку от Аккольского совхоза, перед чабанами которого он выступал. Эта встреча его была наполнена радужным настроением. Причем даже во время тесного степного застолья художник еще раз раскрыл себя, сумел заставить окружающих земляков раскрепоститься. Самозабвенно сыграв на домбре один из печальных кюев Курмангазы, он в наступившей тишине прикрыл глаза и чуть откинул назад голову. Пальцы его взлетали над струнами с какой-то особенной легкостью и изяществом, выдавая исполнителя чуткого и вдумчивого. Художник закончил игру и передал инструмент сидящему справа. Домбра пошла по кругу. Играли и пели чабаны, директор совхоза и даже секретарь райкома.

Не знающий Исмаилова мог подумать – какой-то взбалмошный это человек: по степи мечется, в кино снимается, песни поет. Ведь дедушка, степенно ему, вроде бы по штату положено. Но именно в жизненности, душевной щедрости, в общении с людьми проявлялся его талант. Ауке-ага считает, что и песни, и музыка, и очарование природы – обязательные компоненты его творческого восприятия. Но не будь его, художник иссякает, как пересохший родник. Он любит дорогу и всевозможные неожиданности, отдается воспоминаниям, делясь с людьми всем, чем наградила его жизнь. Художник обогащает себя, находит истинную радость, если ему удается помочь человеку поверить в свое призвание.

И в семье берегут его традиции. Дочери: Лейла – балерина, Гульбайрам – художница, младшая Гульзамира – выпускница ВГИТИСа.

Баканасские ребята приносили Исмаилову свои рисунки, Ауке разъяснял им премудрости композиции.

Пожалуй, не менее терпеливо, как и его первые учителя — русские художники, прошедшие в свое время Сары-Арку с верблюжьим караваном.

В книге отзывов персональной выставки А. Исмаилова я встретил любопытную запись об одной из его работ:

"Ваша акварель льется широкой, прохладной и свободной волной. Очень нежная, дымчатая долина, очень нежный сиреневый цвет зари. Эта вещь выписана с такой любовью, что даже пропасть не пугает. Смотрите, какая же она у вас сиреневая и теплая. В ней в хорошую погоду, наверное, собирается очень много солнечного света. Цветные озера смотрят на нас из картин осмысленными глазами. Художник, так горячо любящий свою Родину и ее просторы, на этом не остановится и добьется большего. Алена Белова, начинающая художница".

Где ты, Алена Белова? Стала ли настоящим художником? Я не оцениваю мастерство Исмаилова, не сравнивая его талант с другими. Пусть же эта трогательная запись будет маленькой рецензией. Она так же чиста и по-юношески свежа, как и творения этого, одного из первых художников Казахстана.

Уезжая, Исмаилов еще раз осмотрел новый Дворец культуры. Это прекрасное современное здание с большим зрительным залом, сценой, просторным фойе и помещениями для занятий кружков.

Почти вся молодежь села вышла в тот день на субботник. Заносили кресла, мебель, киноаппаратуру. Настроение у всех было светлое и радостное, будто люди вселялись в новую квартиру. Исмаилов нашел место, где удобнее выставить привезенные картины, советовал молоденькому директору, как лучше украсить интерьер, помог с оформлением. "Здесь будет отличная галерея", – радовался он. Ему отвечали с достойной признательностью: "Если делу сужден успех, к его началу всегда поспевают хорошие люди".

– Ты думаешь, что Ауке-ага был щедрым по настроению, или просто расчувствовался от гостеприимства?

- обратился ко мне Синенький. – Ведь он подарил акварели селу Чилик, открыл галерею на своей родине, в селе Атасу Джезказганской области. Иной раз думаешь – странно, ведь столько труда, нервов, вдохновения затрачено. И – на тебе, такая расточительность! Ведь иной раз, вроде бы, широкая натура, но добро преподносится с корыстью. Выдаст его как на блюдечке, эдаким выстраданным, запрограммированным подарком ко дню рождения. Чтобы все видели, восторгались щедростью. А этому нужны галереи. Привезет свои работы – и был таков. Потом других художников подбивает. Скорее всего это похоже на возвращение? Совершенно естественное стремление человека возвратить людям или детям этих людей то, что в свое время ты получил от других! Приходит время, и человек по-настоящему начинает понимать все это. Так ли это, Синенький?

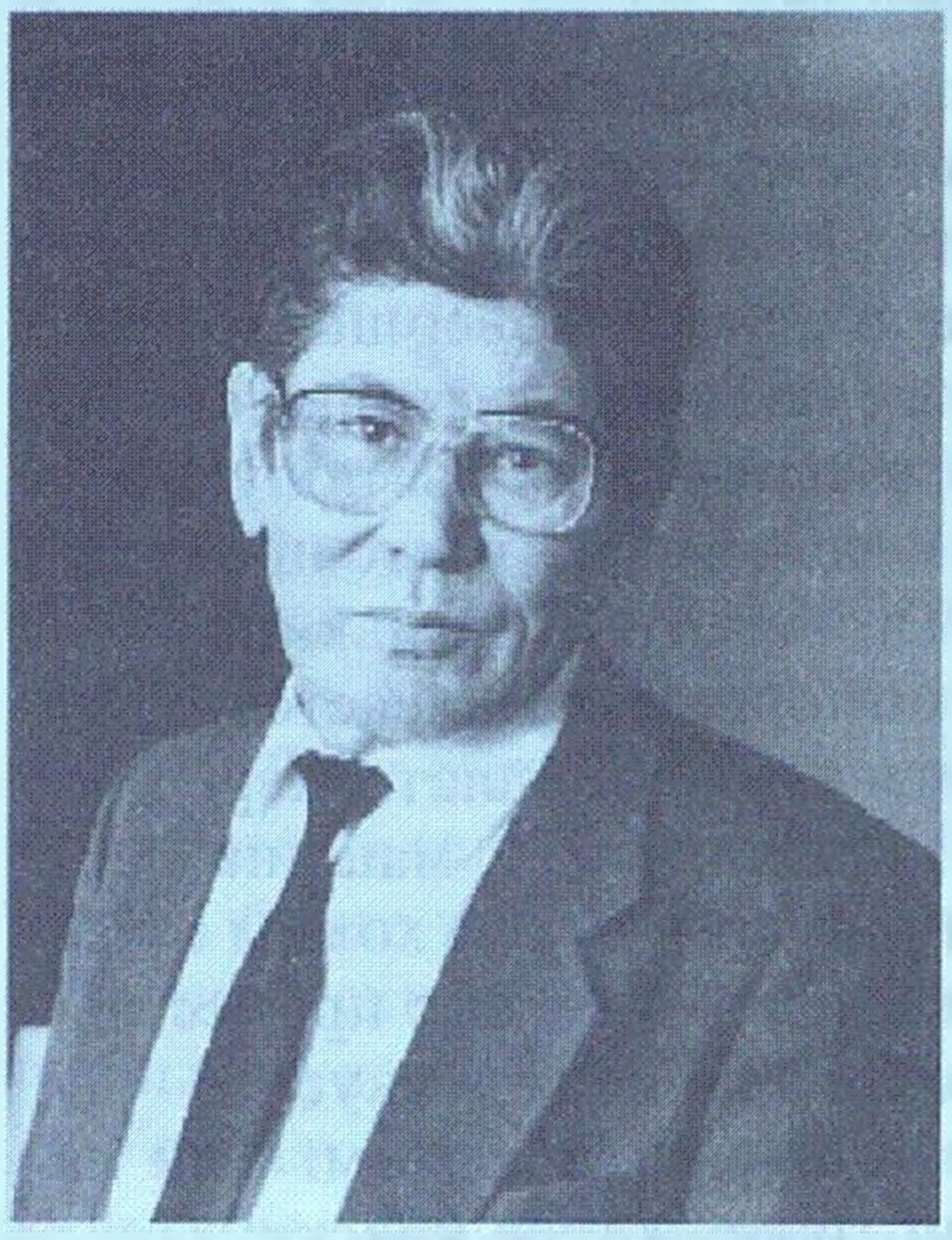
– Пожалуй, так, – чуть поморгав, соглашается Саша.

Возвращались мы в Алма-Ату через плато Кербулак. На подъеме в радиаторе закипела вода, машина остановилась. По обе стороны тянулись бурые холмы и черные лоскуты озими. Ауке вышел и вскоре принес нам горсть ягод джиды, сладкой и терпкой на вкус.

– Там – фазаны, – сказал он полушепотом. Они пасутся совсем близко. Посмотрите, какие краски!

# РОДНИК

## *На родине Ануара Алимжанова*



*Таким я его запомнил навсегда*

У подножия сопки Кзылтобе проходит дорога между селами Екпенды и Карлыгаш. Она хорошо видна с ее красной вершины. Видны и белые тропки к соседним аулам. Раньше, в предвоенное время, здесь в каждом было свое хозяйство: что ни аул, то колхоз. Отсюда летом сорок первого по пыльной дороге в райцентр ушло более 500 мужчин. Многие из них молодые, почти мальчики. Их провожали старики, женщины, дети. Те, что проходили через Карлыгаш («Ласточка»), останавливались слева у дороги, у родника Актума. Из белой глины здесь слезами точились серебристые капельки влаги и стекали прохладным чистым ручьем. Считалось в народе, что напившиеся из родника, обязательно вернутся в родные края. Прошедшие через тяжкие испытания войны, через все ее огненные дороги вместе с образами близких пронесли в памяти и маленький родник Актуму. В последнюю встречу – в День Победы у скромного обелиска, воздвигнутого у школы в селе Екпенды в честь павших земляков, собрались со всей округи уже всего 78 бывших фронтовиков.

Среди тех, кого чествовали, был школьный учитель

Базарбай Кашкаров, старший сержант 236-го стрелкового полка, получивший зимой 42-го тяжелое ранение под Сталинградом. Долгие годы он преподает в этой казахской школе историю и возглавляет краеведческий кружок.

Памятью прошлого закрепляется бесценный духовный фундамент надежности сегодняшних поступков и решений питомцев школы. С аулом Карлыгаш меня познакомил писатель Ануар Алимжанов. Он здесь учился и вырос. Мотивы из сиротского военного детства отражены в его книге «Синие горы».

Я вспомнил эту книгу, когда входил в былые годы в вестибюль трехэтажной школы – самого большого здания в селе, и увидел прямо перед собой на стенде фотографию писателя и вырезки из газеты об очередной его зарубежной поездке, и рецензию на его новую книгу. Писатель, смущенный повышенным вниманием, в красном галстуке почетного пионера среди восторженной детворы. Он автор произведений, по которым в школе не раз проводились читательские конференции, лауреат международных премий, известный человек, но для земляков он – «наш Ануар».

На стенах витрины с фотографиями пожилых людей с орденскими планками. Как пояснил директор школы Аукен Казыбаев, это учителя – участники Великой Отечественной войны. А рядом были тогда снимки выпускников – тоже фронтовиков. И еще видел портреты тоже воспитанников школы. Судя по подписям, среди них доктора и кандидаты наук, Герой Социалистического Труда, композитор, поэт. В этой школе с первого же шага чувствуется глубокое уважение к тому, чего достиг человек.

Тогда земли малых аулов принадлежали одному хорошему колхозу «30 лет Казахстана». Руководил им деятельный председатель Кадырхан Бекпаев. Хозяйство сдавало больше всех в районе мяса, молока, шерсти, большие средства здесь ежегодно затрачивались на строительство. Председатель рассказывал: в ближайшее время построят молочный комплекс на 800 коров, об-

воднят пастбища в урочище Чиликты, построят интернат для детей чабанов... Хорошие планы. Они потребуют не только материальных затрат, но и рабочих рук в дальнем поселке (300 километров от областного центра). Наверное, не очень-то удержишь здесь нужные кадры. Спрашивал об этом председателя. В ответ – оптимистическое заявление: в этом плане все благополучно. Откуда люди?

– Как откуда? – удивляется председатель. – Ежегодно более 100 человек оканчивает местную школу. Многие остаются.

В восьмом классе екпендинской школы был популярным тогда традиционный урок «защиты профессии». Проходит он обычно торжественно, в большом зале. На сей раз защищали профессию чабана. Ребята подготовили альбом, в котором собрали фотографии, газетные вырезки о лучших пастухах колхоза, их биографии. Поставили и разучили устный литературный монтаж, подобрали любимые чабанские песни. На встречу пригласили знатного овцевода Шарипхана Аубакирова. Все, что узнали восьмиклассники от своих отцов, бабушек и дедушек, все, что они кропотливо собирали об овцеводах, их прошлом и настоящем, стало как бы приглашением к профессии.

Сто девять человек насчитал тогда председатель исполкома сельского Совета Туралык Дуненбаев в семействе Аубакировых. В разговоре о чабанской профессии приняли участие и младшие представителя этого большого трудового рода. Рода, среди которого есть строители и механизаторы, полеводы и учителя. Высказывались мысли о наследии в профессии, говорили о том, что вовсе не обязательно молодым идти непременно по проторенной отцовской дороге – водить отару или стать трактористом. Так, Алма Аубакирова, дочь чабана, стала врачом.

Откуда у дочери животновода, да и у многих других тяготение к медицине или науке? Вернемся к «защите профессии». Была такая и по медицинской линии. Вместе со всеми Алма готовила альбом, подбирала стихи и

песни, разыскивала фотографии выпускников, окончивших медицинские училища, вузы и работающих сейчас в местных больницах. За время пребывания в стенах сельской школы это происходило неоднократно: люди менялись, и новые классы включались в эту серьезную игру. Подростки сами убеждались на примере старших выпускников в том, как надо утверждаться, а не устраиваться в жизни.

Такие же основательные исследования целые классы провели по другим профессиям, для каждой из которых они придумывали свои красочные альбомы, выделяли своих главных людей, своих героев. Эти своеобразные праздники посвящались свекловодам и дояркам, механизаторам и строителям.

Понимаю истоки гордости, с которой учителя тогда показывали все эти красочные альбомы, выполненные с детской трогательной аккуратностью и любовью. Запомнился мне один из них, посвященный педагогам. В нем собраны не только мудрые высказывания просветителей, назидательные строки Ибрая Алтынсарина и Абая. Со страниц смотрели фотографии и первого завуча - отличника народного образования, и учителей-пенсионеров, и выпускников, ставших уже признанными педагогами в родной школе.

– Вы знаете, – сказал директор, – профессия учителя среди наших ребят, пожалуй, одна из популярных.

Председатель колхоза был частым гостем в школе. Он приходил не только потому, что почти все учащие здесь – дети колхозников, и председатель помогал школе по хозяйству. Он сам рассчитывает на их помощь. В прошлом году, например, школьники во время летних каникул заготовили 2.200 тонн кормов, собрали больше тысячи килограммов семян дикорастущих трав, работали на очистке зерна, на токах, на прополке свеклы. Члены учебно-производственной бригады из 120 крепких ребят и девчат на отгонных участках Коян-коз, Есболат, Уш-каин помогли строить и ремонтировать кошары, убирать сено.

Местные педагоги всегда подкрепляли словесное вос-

питание детей практикой. Немало открыли ребята для себя на уроках истории Капана Еркимбекова. Ровесник Ануара Алимжанова, отец 11 детей, которые уже стали агрономами, механиками, строителями, зоотехниками, он многое помнил из своего военного детства. Помнил лица и имена ушедших на фронт, чьих сыновей, дочерей и внуков ему пришлось позже воспитывать. Он рассказал, какими они были, эти первые трактористы и полеводы, вспоминал, как все сбережения своей семьи – 100 тысяч рублей – старый чабан Женисбай Бастанов отдал на строительство танка. Как в военкомат в Андреевку по заснеженной дороге на санях, запряженных быками, везли шубы, теплые носки и пушистые варежки, связанные усталыми руками матерей Екпенды и Карлыгаша. Он помнил, как примчались лошади и привезли в санях с дальнего отгона уже замерзшего Кыдралы Борибаева, первого организатора колхоза. В голодные и холодные дни войны он находил время заглянуть в каждый дом, подбодрить людей. Он открыл столовую с бесплатным супом, чтобы хоть как-нибудь поддержать слабых и детей. Боевым орденом награжден председатель, хотя его фронт был далеко в тылу.

Не так уж велики были эти аулы у подножия Синих гор, в стороне от больших дорог. Но их не обошло горячее дыхание времени. Здесь неподалеку в дни становления Советской власти несколько крестьянских сел оказывали упорное сопротивление бандам Анненкова. Оно вошло в историю как Черкасская оборона. В годы Великой Отечественной немало здешних уроженцев сражались у стен Москвы, в рядах легендарной Панфиловской дивизии. Здесь есть аулы, где живут и трудятся по нескольку почетного в то время звания Героев Социалистического Труда. Школьные учителя не раз водили своих учащихся в походы по тем местам, исподволь воспитывая в них сыновнюю привязанность к этой земле. Отряд следопытов екпендинской школы побывал в сотнях домов близких селений, искал имена еще не открытых для себя фронтовиков.

Председатель исполкома сельского Совета называл

мне имена тех воинов: Толенов, Айтынбетов, Мырзагулов, Мамджанов... Их фамилии теперь будут написаны рядом с 306 погибшими фронтовиками на памятнике-монументе, который всем миром поставили на горе Кзыл-тобе, откуда далеко видится земля, вырастившая солдат.

...Мы шли к той сопке широкой аллеей плодовых деревьев: директор школы, председатель исполкома сельского Совета, по-нынешнему – аким, руководитель колхоза.

– Три тысячи деревьев высаживают каждый год ребята, - говорит один.

– Хороший парк заложили, – соглашается другой.

– Саженцы в Алма-Атинском питомнике заказывали, – говорит председатель колхоза.

Они идут улицей села, и люди приветствуют их, а они отвечают почтительно. Трое, теперь уже давно старейшины, они всего лишь на несколько лет не доросли до солдат в тот призывной 41-й и чувствовали себя в неоплатном долгу перед ними. Сообща пытались утвердить это чувство в сердцах своих детей, всех маленьких жителей колхозного села, чтобы оно не утратилось и не растворилось с годами. Для этого не делали ничего обычного, а пожалуй, то же самое, что и другие на их месте в русских, украинских, белорусских школах. Они только связывали это великое чувство со своей землей, с родником, с отрогами Синих гор. Они всем своим существом понимали, что любовь и привязанность к родному аулу – это не абстрактное понятие, это знание его истории и людей, это вкус хлеба, хоть раз выращенного своими руками, это единство бытия, без которого не может быть полного восприятия жизни.

...Об этом думалось, когда мы поднимались со старейшинами на Кзыл-тобе. На вершине из красной глины надежным фундаментом выпячивались плоские остатки гранитных скал, по обе стороны белели в дымке строения села. Слева были горы, справа – долина. А между ними дорога, по которой ушли в вечность 310 сыновей казахского аула.

Мы спустились с сопки, по крутой тропе прошли к роднику и по очереди подставили ладони под его прозрачные струи. А потом долго стояли молча.

* * *

Эти строки написаны не сегодня. Но почему все это вспомнилось. Многое из этих добрых начал и свершений заслуживает достойного продолжения. Уверен, большинство детей Карлыгаша стали достойными людьми. Но об этом должен быть отдельный рассказ. История небольшого аула у подножия гор, где родился большой казахский писатель и общественный деятель Ануар Алимжанов, во многом типична для того времени. Для того, чтобы стать талантливым и великим вовсе не обязательно появится на свет в большом городе.

Я благодарен Ануару Алимжанову не только за то, что он дал мне адрес своего аула (тогда Андреевский район Талдыкурганской области) в одной из совместных прогулок по Алма-Ате. Я бы не назвал его очень многословным человеком, но речь его была объемной по оценкам и информации.

Однажды, когда шел снег, он сказал: «Кар». Почему эта маленькая деталь запомнилась мне. Это, казалось бы, в русском языке не совсем мелодичное слово, прозвучало в его произношении как нежная песня.

Ануар всегда был для нас кумиром. Ведь все мы вышли тогда из КазГУ. Мы еще учились, а он уже был собкором «Литературной газеты», как бы представителем московской элиты в Казахстане.

Ануар принимал меня в Союз писателей Казахстана, председателем которого он тогда являлся. Я никогда не забуду его ободряющую лукавую улыбку. Мне вовсе не хотелось пересказывать этапы его творческой биографии. Это дело критиков и библиографов.

Я просто рассказал об истоках его творчества, о роднике, давшем жизнь ему и его сверстникам.

Светлая память тебе Анеке!

# ВОСКРЕШЕНИЕ

## *Памяти поэта Владимира Чугунова*

В большом желтом конверте, который Кравцов получил из маленького сибирского городка от своих друзей-газетчиков, лежала граммофонная пластинка. Она была записана на старой рентгеновской пленке, и звуковая дорожка кое-где потрескалась.

На пленке Кравцов обнаружил голос того самого поэта-фронтовика, о котором собирался писать в газету. Товарищи сообщали, что вдова поэта Мария Павловна живет с дочерью где-то в городе и работает в школе под своей девичьей фамилией. Кравцов навел справки и, к своему удивлению, очень скоро нашел Марию Павловну, созвонился с ней, договорился о встрече.

Автобус привез его на окраину, где начинались дачные сады. На безлюдной улице задержался у киоска. Соблазнившись отсутствием очереди, выпил кружку холодного пива, не без удовольствия разглядывая в стекле витрины свое свежевыбритое лицо. Он подмигнул отражению, расплатился и, мурлыкая под нос «где эта улица, где этот дом», пошел искать нужный адрес.

Дела у Кравцова шли неплохо. Редактор на летучке отметил его последний очерк, назвав гвоздем номера. Материал о поэте в принципе тоже получатся, блокнот распух от фактов, хоть сейчас садись и пиши. На встречу Карвцов шел скорее из журналистского любопытства, чем по необходимости. Он не совсем был уверен, что на пластинке записан именно тот голос, который хотел услышать.

В узкой улочке тесно стояли добротные каменные дачи. За заборами звенели цепями сытые овчарки, розо-

вели яблоневые ветви, усеянные, как пчелами, набухающими почками, пахло прелой землей и горелыми листьями.

«В отличном месте устроилась вдова: сады, воздух и до города близко. А ведь у нас тоже был неплохой домишко с садом, верандой, душем, но поторопился, продал после смерти матери. Поковырялся бы сейчас в саду на собственной даче, послушал, как поют птицы, и поработал над чем-нибудь для души».

Близоруко разглядывая номерные знаки, Кравцов нашел нужный дом и удивился, потому что представлял его совсем не таким. От старенького деревянного домика с крохотной верандой, окруженной редким садиком, веяло казенной неряшливостью. Ремонтировали его, видно, давно, наспех; наличники на окнах окрашены в разные цвета, на стеклах веранды засохли давнишние потеки краски.

Сторонясь растопыренных ветвей засыхающей яблони, Кравцов постучал в фанерную дверь. Мария Павловна, женщина не первой молодости, с нервным лицом, редкими седеющими волосами, встретила Кравцова суетливо, помогая стянуть с плеч шуршащий плащ, извинялась за тесноту и неустроенность.

Из коридорчика, где стояли умывальник и узкий кухонный стол, Кравцов прошел за хозяйкой в комнатку, заставленную старыми случайными вещами. Громоздкая печь, бессовестно выпятившись на середину, занимала почти половину комнаты, прижимая к стене продавленный диван яркой расцветки и кадку фикуса с печальными редкими листьями. «Нелегко живет вдова, и печь приходится топить, и за водой ходить, наверное, не близко».

– Здесь дачи были. Мы поселились временно, а он ни в какую не хотел уезжать. Потом война... – торопилась объяснить хозяйка, словно гость подумал вслух.

«Он ушел на фронт из этого дома. И она, вдова поэта-фронтовика, за все время не напоминала о себе, не попыталась получить квартиру».

– Нашего брата, учителя, не очень квартирами балуют, – рассеянно сказала Мария Павловна и, заглянув Кравцову в лицо, нетерпеливо спросила: – Вы принесли?

Как же, конечно, он принес, он виноват, что не начал с этого сразу, только надо прокручивать очень осторожно: пластинка сырая, кое-где потрескалась. Достав пленку из конверта, Карвцов закрепил ее на диске проигрывателя. Мария Павловна заволновалась, торопясь, не так включила старенькую радиолу. Отчаянно прокричал джазовый певец, динамик хрипло затрещал, и из плена шумов вырвался голос.

Мария Павловна вздрогнула, отчаянно посмотрела на Кравцова. И он без слов понял, чей это голос.

*Надо мною прошумев крылами,*
*Пролетают стаи диких птиц.*
*Звезды падают над желтыми*
*полями,*
*Полыхают отблески зарниц...*

Голос не пел стихи, как это любят делать поэты, слова звучали сухо и четко. Кравцов несколько раз прослушивал пластинку дома, даже текст переписал. Но все сомневался, что голос и стихи принадлежат его герою. А теперь все стало ясно.

Он видел перед собой худые сгорбленные плечи Марии Павловны, ее опущенную голову и понимал, что она, как никто другой, в эти минуты чувствует дорогого человека и он, Кравцов, здесь лишний, и ему просто неудобно и тягостно сидеть и смотреть в затылок хозяйке. Любые его слова были бы лишними и не дошли до нее.

Кравцов встал и подошел к окну. Мария Павловна, не оборачиваясь, рассеянно прошептала: «Да, да, это он...» – и снова ушла в себя.

Голос с пластинки то затихал, то вновь раскатисто нарастал. Он стал полным хозяином в маленькой ком-

натушке. Каждое слово будило память Марии Павловны, она увидела мужа таким, каким он остался в ее жизни: большим, порывистым, добрым, с густыми рыжими кудрями. Ей казалось сейчас, что откроется дверь, войдет он и с ходу начнет читать свои стихи, чисто и ясно, без этих хриплых металлических шумов.

За окном на яблоне скворцы подняли бучу, ветки чуть дрогнули, царапнув стекло. Мария Павловна вскинула голову. Яблоню они сажали вместе.

*На земле, где жизнь моя зачата,*
*Сок берез и кровь людей кипят.*
*И несут молодки, как богатство,*
*В этот год родившихся ребят...*

Строчки эти, кажется, родились в ту самую весну.

Она мысленно видела мужа, его мягкую улыбку, бронзовое лицо, глубокие темно-серые глаза, белую астру в кармане пиджака – его любимый цветок, который он ухитрялся доставать даже зимой.

Пластинка зашипела, остановилась, но Мария Павловна опять включила ее и слушала всем своим существом, словно стояла в почетном карауле и старалась запомнить навсегда любимого человека. Хозяйка, наконец, выключила радиолу, встала, медленно прошла на кухоньку и там у зеркала вытерла глаза полотенцем и появилась спокойная и подтянутая. Она знала, что Кравцов собирается писать о ее муже, и, когда он позвонил ей на работу и сказал об этом, она ожидала увидеть дотошного самоуверенного журналиста, каких обычно показывают в кино, а перед ней сидел усталый, даже тихий человек, наверняка страдающий гипертонией и бессонницей. И то, что он был ей ровесником, внушало особое доверие.

– Я покажу вам все, что осталось...

Мария Павловна открыла старенький шифоньерчик, достала из-под стопки белья деревянную шкатулку с резьбой на крышке. На дне шкатулки лежал газетный сверток. Развернув его, она протянула Кравцову пач-

ку желтых листков и конвертов с потрепанными углами.

Кравцов взял первое, что находилось сверху, - четвертушку тетрадной страницы. Это был набросок какого-то стихотворения: линейки на бумаге выцвели, и буквы, маленькие, круглые и четкие, казались написанными совершенно непонятными чернилами. Он не без трепета взял в руки кандидатскую книжку Союза писателей, подписанную самим Горьким, удостоверение об окончании школы горнопромышленного ученичества – ломкий листок со множеством витиеватых подписей, потом его внимание привлекли стихи, отпечатанные на машинке жирным тяжелым шрифтом.

Кравцов всегда испытывал волнение, когда встречал малоизвестные забытые вещи и документы. В архивах он вчитывался в полустертые строки старых приказов и постановлений, сопоставляя уже знакомые ему факты, он старался уловить логическую связь и последовательность между случайными, чудом уцелевшими документами. И когда это удавалось, он весь загорался, перечитывал уйму нужных книг, пытаясь представить зримо отшумевшие события, чтобы передать о них читателям.

И вот сейчас бумаги, лежащие перед ним, рассказывали об интересной человеческой жизни, которую лучше других знала Мария Павловна. Его герой не был знаменит. Он только начинал писать, выпустил первую книжку в местном издательстве, печатался когда-то в газете, где работает Кравцов, и погиб молодым, кажется, в первом же бою.

Все могло быть иначе, если переставить случайности, и, может быть, не он, Кравцов, а это самый поэт пришел бы в его семью «взять материал» о незнакомом коллеге, чье имя записано золотыми буквами на мемориальной доске в коридоре редакции. От этой мысли Кравцову стало зябко. Интересно, что бы ему показали? Кучу небрежно исписанных блокнотов? Если они

вообще сохранились. Несколько писем с фронта? Газетных вырезок он не собирал, большинство его материалов были обычной оперативкой.

«А сколько интересных незаурядных людей остаются жить только в памяти родных и друзей и уходят вместе с ними, - подумал Кравцов. – Воспоминания о них хранят в старых семейных альбомах рядом с фотографиями предков: письма невернувшихся с фронта, театральные билеты, какие-то значки, членские карточки спортивных обществ и еще много мелочей, ничего не говорящих постороннему человеку. Со смертью памяти эти кусочки старой желтой бумаги становятся ненужной макулатурой».

У самого Кравцова почти ничего не осталось от близких ему людей. На чердаке родительского дома он находил старые бумаги отца, растрепанные книги, тюбики с засохшей краской, батарейки от допотопного приемника, несколько почерневших этюдов, сделанных отцовской рукой. Он не придавал этим вещам никакого значения. Они интересовали его, скорее всего, своей полезностью. После смерти матери (отца не стало на много лет раньше) Кравцов продал дом, оставив в нем много ненужных ему, Кравцову, вещей: разных тумбочек и полочек, сделанных отцом, которые вне дома выглядели просто нелепо. Он торопился уйти, не оглядываясь на латанную-перелатанную крышу, не обращая внимания на скулеж Джека, который плакал по-собачьи. Пока Кравцов шел до конца улицы, он слышал это плач, а оказавшись на шумной трамвайной остановке, попытался обо всем забыть. В тесном вагоне решил, что уже больше никогда не вернется на эту улицу и, расставшись с недвижимой собственностью, от которой он чувствовал себя почему-то неловко, одним махом похоронит прошлое. От этих воспоминаний ему стало тоскливо.

...Кравцов держал в руках чужую память – потертую бумагу с расплывшимися строчками. Это были не-

жные слова, адресованные женщине, слова о том, как красиво и легко она входит в его стихи, но ему не хочется писать их в альбом, потому что в этом есть что-то домашнее, наполненное покоем.

«...А я хочу, чтоб песенки мои, наоборот, по горнице, по лесенке ходили взад-вперед».

Строчки наползали одна на другую, Кравцов все труднее разбирал плывущие буквы. Мария Павловна увидев замешательство гостя, стала читать вдруг на память:

«...В ладони дружно хлопали воздушны и легки, ногами громко топали, вставали на носки».

Голос ее дрожал, хотя весельем и радостью веяло о каждой строки, певучие и задорные, они просились на музыку.

«А ну-ка, вскинь головушку и русскую начни про серого воробушку, про голубые дни».

Мария Павловна бережно взяла листок.

– Мы тогда только познакомились. Он подарил мне эти стихи, я не расставалась с ними, носила в сумочке. Конечно, нигде не печатались...

Когда-то и Кравцов писал своей бывшей жене ласковые строки, от которых веяло грустью и нежностью. Жена, гордая, показывала стихи подругам, и те завидовали. Он помнит свои стихи слово в слово, когда и при каких обстоятельствах набросал их на обороте фотокарточки, где он снят молодой и стройный, в модном галстуке и белоснежных летних брюках. Где сейчас эта фотография и помнят ли его стихи? Ведь столько прошло времени, и у сына его уже растет дочь.

А разве такие стихи не имеют права на жизнь? Надо сейчас переписать эти строки любви, адресованные Марии Павловне, убедить шефа поставить на полосе рядом с очерком о поэте. Ведь в этих строчках живет его герой, взбалмошный, влюбленный, полный яростной энергии.

...Кравцов писал, близоруко припав к блокноту, а Мария Павловна рассеянно собирала бумаги. На веранде послышались шаги, дверь заскрипела, медленно

приоткрылась, и в комнату, неловко переступая через порожек и спотыкаясь, вошел кряхтя краснощекий карапуз. Его поддерживала за плечо молодая женщина.

– Иди, Кирилушка, иди к бабушке, – сказала женщина певучим мягким голосом и, увидев Кравцова, вопросительно вскинула на Марию Павловну густо подведенные ресницы.

– Полина, познакомься. Этот товарищ из газеты. Он принес пластинку... Там твой отец, Полина.

Женщина подала Кравцову полную сильную руку, села на диван и привлекла к себе сына. Она мало походила на мать: высокая, статная, с длинными до плеч рыжими волосами, с мягкой ямочкой на подбородке. Что-то милое, детское светилось во всем ее облике и придавало ей особую прелесть.

Когда зашипела пластинка и в комнату ворвался голос отца, Полина застыла на мгновение, беспомощно посмотрела на мать, на Кравцова и, отвернувшись, закрыла лицо ладонью. Глядя на нее, Кирилл заревел басом.

– Тише, это деда твой, деда...

Мать и дочь слушали пластинку подряд несколько раз, сидя рядышком на диване и обнявшись. Кравцов собрал свои бумаги и стал раскланиваться.

Мария Павловна очнулась, засуетилась, оставляла выпить чаю, извинялась, что не уделила гостю больше внимания, приглашала чаще заходить – они с дочерью всегда будут рады.

Полина помогла Кравцову надеть плащ, и ему было неудобно, что за ним ухаживают, будто он совсем старый и неловкий.

– Мы очень вам благодарны, вы даже не можете представить, как мы вам благодарны, – говорили Полина, провожая Кравцова под руку до калитки.

– Где эта яблоня? – спросил Кравцов.

– Отцовская? Да вот она, перед вами, – она указала на старое сухое дерево. Часть ветвей потеряла листья, но дерево все же цвело и обещало плодоносить.

Кравцов простился, сутулясь, пошел вдоль улицы. Запахло теплой, прогретой землей.

«Они сейчас опять будут слушать пластинку», – подумал он.

В газете ему отведут не более двухсот пятидесяти строк. История с пластинкой едва ли займет пару абзацев. А писатель наверняка вдохновился бы здесь на большой рассказ.

Сколько раз в жизни ему приходилось быть «виновником» и свидетелем благополучных встреч: или его герои находили родственников, или строчки, написанные им, помогали воскресить память, уснувшую вечным сном. Он тогда испытывал особое удовлетворение от своей работы и чувствовал себя почти солдатом, удачно прошедшим трудную линию окопов. Ему хотелось поле этого позволить себе день ничего не писать, отдохнуть и оглядеться.

Кравцов давно не был у сына, плохо помнит внучку. Он оправдывал себя постоянной занятостью и убеждал, что до старости еще есть время и, выйдя на пенсию, он успеет все наверстать. Обидно, правда, что сын все реже бывает у него, может быть, и у сына есть на то свои причины.

И все-таки человеческую любовь и добрую память нельзя, наверное, копить и выдавать оптом. Всякие добрые чувства требуют постоянства. Что останется после него в памяти других, будут ли его дети и внуки через десятилетия гордиться им, беречь газетные вырезки с его статьями, грустить о нем, учиться у него и вспоминать не только по семейным праздникам, а чаще?

Упругие сиреневые ветви яблонь, перегнувшись через изгородь, цепляли Кравцова за плечи. Над головой разговаривали серые воробьи и горластые скворцы, упиваясь солнцем, подражая всем звукам весны.

Все это не раз воспевал в своих стихах человек, голос которого он только что слышал. Ветер с близких гор приносил запах подснежников, над цветущими садами плыли неутомимые облака. Кравцов думал о памяти как о чем-то очень дорогом и нужном всем, у кого лучшая пора жизни осталась позади.

# «СИНЯЯ ПТИЦА» МАКСИМА ЗВЕРЕВА

*За сказками ходил*
*Подалее от дома -*
*И к барсучонку,*
*И к ежу*
*И к филину седому*

***Зверев М.Д.***

*Максиму Дмитриевичу уже за 90*

Мне кажется, что этого человека я знал всю жизнь и потому испытываю к нему особые чувства.

Они дружили с моим отцом Олегом Васильевичем аж с 1937 года, когда тот, еще совсем молодой человек работал репортером в пионерской газете Казахстана. Где-то в 50-х годах они даже написали совместную книжку. Это была повесть «Голубая пещера», навеянная романтикой поисков и открытий. Помню ее простую разгадку: пещера светилась ночью голубым светом, потому как там фосфорицировали останки диких животных. Местные жители относились к ней с суеверным страхом, а вот юные натуралисты пришли и все разгадали.

Такой вот нехитрый сюжет. Это была первая отцовс-

кая книжка, пусть даже и написанная в соавторстве. Тоненькая в мягкой обложке с примитивными, как мне сейчас кажется, иллюстрациями. Я страшно гордился, показывая ее своим соклассникам, такое вот было радостное время.

В юности Максим Дмитриевич стал для меня не просто взрослым человеком, другом отца, а скорее учителем и наставником, у которого ты не боялся получить двойку за невыполненный урок.

Встречи с ним в детской библиотеке, одиноком большом строении, стоявшем на берегу Малой Алматинки, где он собирал школьников со всего города, заканчивались, порой, катанием зимой на санях, запряженных парой лошадей.

Однажды он повел нас ранней весной в горы на Юннатское озеро (сам дал ему название), что находится в ущелье за Веригиной горой (Кок-Тюбе). Впервые он позволил выстрелить из «малопульки». Помню я, тогда был одет не для похода и страшно промок и продрог. Но как-то он смог все уладить: встречной избушкой, чаем и т.д.

На всю жизнь запомнилась поездка на грузовике с группой «Мосфильма» в Приилийские пески на съемки фильма «Пржевальский». Мы пробыли там целый световой день, снимали один единственный эпизод: как удавчик уходит, погружаясь в песок. Когда я увидел фильм на экране, то по-детски удивился, что этой картинке было уделено лишь несколько секунд.

Зверев в те годы и многие потом, работал заведующим научной частью Алматинского зоопарка, который тогда по праву считался одним из лучших в СССР. При зоопарке был кружок юных натуралистов. Тогда это было не только популярным явлением, но и обязательным. Максим Дмитриевич руководил этим кружком, мы дежурили в зоопарке, следили чтобы посетители не обижали животных и птиц. Для нас мальчишек и девчонок советского времени, это считалось периодом как бы приобщения к большому взрослому делу, уроками нешкольных знаний.

Зачем ему все это надо было? Позже я понял, что он не просто открывал для нас мир природы, он наблюдал, как мы воспринимаем это, как реагируем на окружающее. Целый ряд книг потом были посвящены детям, описаниям невыдуманных встреч и приключений. И это с интересом читалось нашими сверстниками.

В шестидесятых годах, когда я работал уже в молодежной газете «Ленинская смена», в редакции решено было организовать клуб любителей природы и выпускать специальную страницу. Общественный совет этого клуба возглавил Максим Дмитриевич. Он и предложил ему название – «Синяя птица». Тогдашний редактор газеты Виталий Энголи засомневался – причем здесь синяя птица? Пришлось объяснить, что синяя птица – это всего лишь особый вид галки, которая водится только в Зайлийском Алатау.

Зверев даже принес в редакцию ее чучело. «Синей птице» суждено было жить на страницах газеты долгие годы.

Ведь и в знаменитый ореховый сад Вячеслава Шайдурова привел меня Максим Дмитриевич и познакомил с чудаком-отшельником. И не ради туристской прогулки мы пешком шли не один час по горной тропе к Шайдуровской избушке. Беспокоилось сердце писателя за будущее уникальной рощи. Десятки лет он за нее бился, и многого достиг. А потом уходили люди, менялась система и созданное энтузиастом становилось добычей ловкачей.

Куда только Зверев не обращался: за поддержкой селекционера-самоучки: и в правительство, и к местной власти, и в Академию наук, в редакции газет... Потом мне попадет в руки целая килограммовая папка с этой перепиской, которую передаст мне сын Зверева, Владимир Максимович. И там я найду вырезки своих публикаций об ореховой роще и множество других документов, которые потеряли свою наступательную силу по времени, но отнюдь не погасили трепетного и взволно-

ванного чувства автора, который переживал не за себя. Ему просто было тяжело видеть, как гибнет дело чьей-то жизни.

Но, к сожалению, так случается и не редко.

Не были мы готовы к «хэппи-эндам». Такие люди, как Шайдуров, просто работали. И пока Зверев был рядом он мог спокойно дышать и жить с хорошей надеждой. Шайдуров – боль Максима Дмитриевича, но все-таки эпизод в его действиях и поступках.

Известный, знаменитый, уже не молодой писатель уделял много внимания творческой молодежи... Он собирал эту братию вокруг себя и они, как бы взаимно обогащали друг друга. Пишущая о природе молодежь, училась у Зверева, возможно даже в чем-то подражала ему. Он вел постоянную переписку с авторами. В результате познающих прибавилось. И в этом одна из добрых заслуг Максима Зверева.

Он был рецензентом некоторых моих рукописей, написал предисловие к одной из моих книг. Он дал мне рекомендацию при поступлении в Союз писателей Казахстана. И я горжусь этим.

Его тактичность, его обязательность, трудолюбие, вечная любознательность и доброжелательность по отношению к людям вызывают самую высокую оценку.

Когда ему было уже далеко за 90, я, закончив свою двадцатилетнюю эпопею в «Известиях», возглавил только что родившуюся республиканскую газету «Экологический курьер». Ее направленность вполне соответствовала моему духовному настрою. И Зверев уже в глубокой старости самостоятельно приходил к нам в редакцию, которая располагалась тогда около бывшего парка культуры им. Горького, в здании лесоуправления. Он поднимался на пятый этаж, принося в своем портфеле забытые и свежие сезонные зарисовки о природе, поведении птиц и диких животных. Ведь для газеты важно было, чтобы такие материалы подавались не вообще а к конкретному времени. В мае, к примеру, надо печатать о явлениях весны, в январе, о зимних невзгодах лесных обитателей и т.д.

У Максима Дмитриевича на это счет был полный порядок. Всю свою сознательную жизнь он вел картотеку, в которую ежедневно заносил свои наблюдения за состоянием окружающего мира, где бы он не был в данное время: дома, в саду, в лесу... Отсюда и документальная достоверность большинства его рассказов, преломленная через призму ученого и писателя. Он любил говорить: «Незаписанная мысль – это потерянный клад».

Книги у него выходили часто. Иногда по две в год. Ему не надо было теперь далеко отдаляться от дома в поисках материалов, ибо свою картотеку он начал в Барнауле, где еще в 1916 году после окончания реального училища работал помощником лесничего. В Алма-Ату он переехал в 1937-ом и открыл первый в Средней Азии зоопарк.

Когда решили в новом «Экологическом курьере» завести страницу «Егерский кордон», повторяющую по направленности тему «Синей птицы», я обртился за помощью к своему старшему другу. Почему именно «Кордон»? У егерей обычно вечером на кордоне в определенные дни собирались частенько интересные люди, неравнодушные к природе. И тогда озвучивались удивительные истории о необычных встречах на степных и лесных тропах: смешные, а иногда и трагичные. Но всегда поучительные.

Зверев завел добрую традицию, где-то в конце мая он приглашал на один из кордонов всех знакомых ему людей, пишущих о природе: из Казахстана, Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Барнаула и т.д. В последние годы он не мог жить без общения с единомышленниками. Вместе они прочесывали и не раз, Чарынский каньон, Ясеневую рощу, Бартогой. Потом он все это опишет в большом очерке, который назовет «Клуб писателей у костра»... Этим очерком откроется природоведческий альманах «Лик земли», издаваемый при Союзе писателей Казахстана по его инициативе. Сколько интересных людей прошло через его страницы: ученые,

студенты, лесники, охотоведы, журналисты... Они опробовали здесь свои природоведческие перья и пристрастия, и многие вполне успешно.

Вот почему «Егерский кордон» надолго занял свое заметное место в нашей газете. Обычно этому разделу уделялась целая страница. Помню тогда мы сопроводили первый выпуск следующим вступлением.

«Мы открываем новую рубрику «Егерский кордон», где будем печатать материалы, связанные с защитой природы, ее флоры и фауны, рассказы и заметки следопытов, натуралистов, охотоведов, зоологов, писателей и ученых или просто – людей пытливых и наблюдательных, которые небезразличны к окружающей нас среде и ее обитателям.

Почему именно «егерский», а не, допустим, «лесничий»! Леса, как известно, занимают в Казахстане весьма незначительную площадь, не более двух процентов. Большая часть территорий, птиц, зверей и других животных охраняется егерями. Они несут свою нелегкую вахту на кордонах, как правило, в дали от населенных пунктов. Но наш газетный «кордон» особенный. Он будет принимать письма и сообщения о наблюдениях из жизни природы со всех концов республики. И главным на этом кордоне, с общего согласия, назначен старейший писатель-натуралист Максим Дмитриевич Зверев.

Максим Дмитриевич давно и вполне официально является почетным республиканским охотинспектором. Читатели и авторы могут нс сомневаться – дело он свое хорошо знает, так что пишите, ваши корреспонденции попадут в надежные руки».

В этом номере была напечатана его поэтическая зарисовка «Живая Красная книга», где писатель рассказывает о своей недавней поездке на незатопленное побережье Капчагайского моря, здесь он обнаружил настоящий живой оазис, где встретил джейранов, куланов, бульдурков, черного аиста... Все это «краснокнижники». Он мечтает создать здесь национальный природный парк.

Таков он Зверев. Не созерцатель-натуралист, как может показаться на первый взгляд несведующему читателю. Он везде на всех трибунах и в печати раньше других начал активные действия по защите окружающей среды, именуемой нынче почему-то «экологией». Сегодня людей, считающих себя экологами развелось тьма тьмущая, но у многих нередко проглядывается со временем проглядывается какой-то свой интерес, то ли подспорье к бизнесу, то ли способ для выживания.

Максим Дмитриевич и сегодня на особом счету у бога природы, если такой существовал бы. Что касается писательского труда, то назначение его, он видел не в благости, а в воспитании сознания, поиске единомышленников.

В этом-то и была главная цель нашего «Егерского кордона», который выходил несколько лет. Одно время Максим Дмитриевич сам заявлялся в редакцию, но потом мы все чаще стали встречаться около его дома на скамеечке (тогда он жил на улице Тулебаева). Мы обсуждали темы и рукописи. Для нас он всегда оставался постоянным автором и добрым советником.

29 ноября 1995 года ему исполнилось 99 лет. Я пришел к нему накануне дня рождения и мы долго беседовали. Он считал, что в природе есть еще множество тайн, которые, возможно, не удалось познать ему, но предстоит открыть другим. Он говорит, что за столетнюю свою жизнь ему трудно вспомнить какой-либо грех, за который бы его мучила совесть. Хотя чувство вины бывает – как у каждого. Но это, скорее, от высокой требовательности к себе. Он был полон творческих планов. И это накануне своего столетия! Тогда он написал: «Дорогие читатели «Экокурьера», берегите, любите, охраняйте родную природу Республики Казахстан. Желаю здоровья, удачи во всех делах. М. Зверев, народный писатель республики 28 ноября 1995 года. Почерк у него был довольно четкий, рука не дрожала. Это факсимиле мы воспроизвели на первой странице нашей газеты. Столетие его должны были отмечать через год. К

нему уже готовились. Еще бы! Не в каждой какой стране жить действующий столетний писатель! Время шло стремительно. До юбилея оставались какие-то месяцы. Мы уже в газете писали: «Максиму Дмитриевичу Звереву, нашему постоянному автору, ведущего клуба «Егерский кордон» скоро исполнится 100!»

Нередко думалось. У человека за плечами целый XX-й век. Каких только потрясений ему не пришлось пережить, чему только не довелось быть очевидцем: великого и низкого, доброго и жестокого. И при этом сохранить достоинство – писателя, ученого, чличности. Уважение коллег. Любовь читателей.

Однако всеобщее признание, признательность – отнюдь не особая благосклонность судьбы. Максим Дмитриевич обладал редким для людей творческих качеством: уважением, способностям, отпущенных ему богом. О его умении работать ходили легенды. Биолог по образованию, кандидат наук, доцент Казахского и Томского университетов, он является автором 156 книг, изданных в 12 странах. Незадолго до кончины он подготовил новую рукопись со столь характерным для Зверева-писателя названием «Душа животных». Новую, но не последнюю. До последних дней он ощущал тихую радость созидания. Она была наградой за его исключительную преданность делу, душевную щедрость и оптимизм. Живой, умный талант, великолепное знание окружающего мира позволили ему встать в один ряд с корифеями жанра – М. Пришвиным, Д. Даррелом, Э. Сетоном-Томпсоном. И разве не справедливо, что именно этому человеку, живущему в гармонии с природой, терпеливо призывающему к этому всех нас, она открыла источник жизненного и творческого долголетия, дала отцовское счастье воспитать прекрасных, благодарных детей. В предюбилейные дни все мы желали Максиму Дмитриевичу здоровья, силы духа и новых книг. Накануне мы разговаривали с Максимом Дмитриевичем по телефону. Голос у него был бодрый. Он сообщил, что готовится к выпуску двухтомник его сочинений. И

вдруг его не стало, тихо и неожиданно 23 января 1996 года. Земля лишилась одного из своих защитников. О Звереве нужно помнить, а не вспоминать.

Максим Дмитриевич любил общаться с людьми, говорил с ними так, как будто давно знал каждого, многим помогал с первыми публикациями и сам как бы обогащался от таких общений.

В нашем доме были почти все книги, но большая часть осталась на старой квартире и после смерти отца попала в чужие руки. Но, к счастью, на моей книжной полке сохранилось с десяток книг Зверева. Все они с автографами. Сегодня я могу сказать – они были частью моего воспитания, вступления в большую жизнь.

На одной из книжек «Сказки бабушки-черепахи», кстати, проиллюстрированной автором (Зверев был еще и неплохим художником), на титульном листе он написал «Дорогому Эдуарду Олеговичу на добрую память о многих годах знакомства и с благодарностью за помощь в последней моей книге. М. Зверев. 7.7.84».

Какая это могла быть помощь. Может быть, некоторые вещи пришлось мне редактировать, работая в «ЛС» и «Просторе». Или будучи корреспондентом «Известий» помогал ему в каверзных издательских делах. Словом, не помню сегодня за что этот славный человек, которому было уже под девяносто, мог благодарить меня.

Он приносил людям добро и, скорее всего, хорошо ценил любую услугу, ему оказанную. На другой книге – третьем томе своих сочинений, вышедшем в 1986 году, он пишет: «На добрую память о многих годах совместной борьбы за охрану природы». Он никогда не повторялся в своих автографах.

Зверев как писатель не искал красивостей, вычурных слов. Но его описания всегда были достоверны, искренни и точны. Многообразие деталей всегда подкупало, и читатель как бы переносился в места, описываемые автором, становился соучастником событий. В этом-то и секрет его творческого обаяния.

Вспоминается одна встреча в Алматы в Доме друж-

бы. В гости к нашим долгожителям приехали геронтологи из Японии. Когда объявили, что писатель Зверев, которому тогда было 92, к тому времени имел трудовой стаж 75 лет, и не собирается его прерывать, гости стоя аплодировали Максиму Дмитриевичу.

В чем же секрет его долголетия? Во-первых – истоки. У него была интересная семья. Отец – Дмитрий Иванович был знаком с Александром Ульяновым, братом Ленина. Мать – Мария Федоровна вместе с сестрами Ульяновыми закончила Бестужевские курсы. В Нижнем Новгороде семье довелось жить в одной усадьбе с Горьким. Максима Зверева в честь его и назвали.

Биография Максима Дмитриевича увлекает, но это другая тема. Важно, что он впитал в себя обстановку уважения в семье, которая передалась ему, его детям и внукам. В его семье никто не повышал голоса, не кричал друг на друга даже в самых сложных ситуациях. Прибавьте к этому великое трудолюбие, воспитанное с детства. Он привык работать в любых условиях. Максим Дмитриевич рассказывал мне, что небольшую книгу «В верховьях Томи», он набросал, стоя всю ночь у билетной кассы железнодорожного вокзала, когда за спиной шумела толпа.

А ведь многие наши литераторы для своих писаний требуют особого уюта и комфорта.

Согласитесь, сильное творческое начало – оно из секретов долголетия. Прибавьте к этому – общительность человека, его доброжелательность по отношению к другим.

Все это находит обратную связь. Заметьте, книги Зверева не нужно было «пробивать», они не нуждались в протекции, одно его имя было паролем на «зеленый свет» в издательствах.

Максим Дмитриевич был всегда в движении. Не пользовался общественным транспортом, утром умеренно занимался зарядкой, возился в палисаднике с цветами, зимой разгребал снег и при первой же возможности выезжал на природу. Кстати, никогда не пил и не курил. Весь его облик излучал доброту.

Не хочу, чтобы его образ выглядел сусальным. Творческому человеку присущи страсти. Но повторяясь говорю, что за столетнюю жизнь ему трудно вспомнить какой-либо грех, за который бы его мучила совесть.

Я бы мог еще долго рассказывать о Звереве, несомненно уникальном человеке. И счастлив, что судьба незримо связывала меня с ним долгое время, несмотря на весомую разницу в годах.

Написать эти строки – это мой долг. У других могут быть свои долги перед этим прекрасным человеком. Ведь за век его жизни, как он сам говорил, сменилось три эпохи. А это что-нибудь да значит.

Я вовсе не задавался целью перечислять все его заслуги и достоинства, его награды и звания. О нем написано достаточно много и разными авторами, я попытался лишь поделиться некоторым своим личным восприятием этого человека, насколько его знал и понимал. И не более.

Обычно когда уходит личность о ней начинают много говорить. И здесь не обошлось без этого. Не хочется повторять цитаты, но в шандуровской папке, которую передал мне Володя Зверев я обнаружил рукописный листок с некоторыми высказываниями в адрес моего учителя, которые я все же хочу привести.

Некий кандидат наук из Киева красиво пишет: «Ваши жизненные и творческие вершины высятся, как величественные белые кроны Алатау, Вы утвердили себя среди натуралистов мира, светите же добрым, ясным светом людям, вашим почитателям, пребывайте в ясной мудрости вечно!» Практически так и случилось.

Некто Петр Дедов из Новосибирска делится своим мнением: « В М. Звереве поражает верность избранной теме, святая преданность ей. Всю долгую жизнь рассказывать о природе, ничего не повторяя, находить новые грани, сюжеты, образы, слова Это воистину подвижническая работа – служить своим словом родной природе и сущему в ней».

А москвич Василий Песков – публицист с мировым

именем отмечает: «Вы теперь патриарх нашей природоведческой литературы. От всех тех, кто моложе, спасибо за прожито-увиденное в ваших книгах».

Цитат еще предостаточно. От В. Бианки до Л. Кассиля. Но дело конечно не в их количестве. Именем М.Д Зверева названа улица Грушовая, на которой он прожил всю жизнь.

Его сын Володя, незадолго до своей кончины подарил мне новую книгу отца, «В чистом поле не догнать» с замечательным набором чудесных рассказов - солнышек. Сборник отпечатан в Москве по заказу нашего Министерства Культуры в 2003 году. Это был год Казахстана в России. Полезная добрая книга. И хорошо, что она стала еще одним мостиком связывающих культуры наших народов.

Уверен, что это не последнее издание Максима Дмитриевича. И не потому, что вообще некому писать о природе. Он ходил десятилетия по земле, любил живой мир, которого сейчас нет.

Современный человек должен знать, что мы обязаны беречь, что мы должны вернуть планете, если нам это удастся. В этом главное наследие и назначение творчества великого писателя-натуралиста.

# СЛАДКИЙ МИНДАЛЬ С ГОРЬКИМ ПРИВКУСОМИ

## *Дело одной жизни*

Эти воспоминания, как утренний рассвет. Очень давно, лет сорок назад, когда я был еще совсем молодым журналистом, Максим Дмитриевич Зверев познакомил меня с удивительным человеком – селекционером-самоучкой Вячеславом Николаевичем Шайдуровым. По тем временам он жил не близко – в нескольких километрах в глубь Заилийского Алатау, в урочище под названием Красный ключ, что в Прямой щели за Вергиной горой.

И пошел я к нему ранней весной в слякотную погоду по раскисшей дороге, спотякаясь о глиняные кочки и обходя оплывины. Тропа трудно тянулась вверх, внизу петляла речушка с мутной водицей, с обочины глядели в нее нахохлившиеся подснежники, небо было серым и скучным и никак не располагало к прогулкам.

Как же старик ходит по этой дороге сорок лет: а морозы, ливни, оползни?

К маленькому домику, который неожиданно забелел наверху среди зарослей я шел напрямик, свернув с тропинки, продираясь сквозь густые заросли сиреневых кустов. Ветви с набухшими почками цеплялись за одежду: сирень тоже принес в горы старик. Сразу за кустами поднялись высокие сильные ореховые деревья с гладкими благородными стволами. Они стояли с достоинством, эти уверенные в себе музыканты, и, наверное, ждали только взмаха дирижерской палочки, которая должна объявить большую весну.

А она уже пришла в горы. Цвел неведомый здесь миндаль, во всю кричали проснувшие птицы. Меня окружали диковинные деревья, о существовании которых я ранее не знал. Кроме ореха грецкого и

миндаля, здесь росли орех маньчжурский, фисташка, лещина. В этом необычном саду как бы встретились юг и север, восток и запад.

Откуда у нас в благодатном тогда яблоневом краю такое чудо?

Загодя я все вызнал про Шайдурова.

Еще до революции закончил он в Москве экономический институт. Начитавшись Сменова-Тянь-Шанского, молодой человек загорелся мечтой открывать для себя новые земли и объектом своей мечты избрал неведомое Семиречье. С молодой женой они двинулись в далекие края. Революцию встретили в прииртышских станицах. Здесь Шайдуров учительствовал, возглавлял отряд по переписи населения степных районов. И только в 1921 году на почтовых лошадях, пуще глаза оберегая папки с материалами всеобщей переписи, они въехали в Верный, город своей мечты.

Ему уже стукнуло 35 лет. Он подумал тогда, что созидательная жизнь его давно началась, а он еще ничего толкового не сделал. Уже в предгорьях Заилийского Алатау, совершая долгие прогулки вдоль ущелья, новосел заметил, что в местах, окруженных сопками, значительно теплее. И Шайдуров подумал, что здесь обязательно должно расти то, что не растет внизу. И он подумал не оклиматизировать ли здесь южные культуры растения. Заменить осиновые рощи на неведомые здесь ореховые и продвинуть их намного севернее обычного районирования. Он нашел удобное для посадок место, привел жену Елизавету Степановну и заявил о своем намерении поселиться здесь.

Они стояли, окруженные колючими кустами шиповника, уродливыми крючьями дикого урюка, опутанными паутиной. В сухой траве шелестели змеи.

– Как здесь? – растерялась она.

Шайдуров сказал, что в горах ему дышится свободнее и нелепо уходить от того, что придает силы.

В райземотделе удивились просьбе, но закрепили за чудаком "бросовый" участок: "Трудное время, разруха, и пусть каждый добывает себе хлеб, как может".

* * *

... Итак мы встретились на его участке, когда деревья уже были большими там. Навстречу вышел хозяин белого домика - высокий человек с обвислыми седыми усами, - сам Шайдуров. Проходим в единственную комнату. Она показалось мне тогда необычной и непохожей на наше бытовое жилье.

На стенах развешаны рога горных теков, и чучела птиц караулят их. С книжной полки, заставленными потертыми справочниками, свешиваются, выгнув головки, холодные ленты змей. В рамке под стеклом плоды орехового и миндального дерева. Разные годы, разные деревья. Фотографии, цифры, диаграммы. Альбомы, керосиновая лампа и ворох не выстиранного белья.

У окна в крошечной зеленой рамке:

*"Кто хочет, тот добьется,*

*Кто ищет, тот всегда найдет..."*

– Вячеслав Николаевич, а это зачем?

– Написал в трудную минуту. Смеялись надо мной садоводы. Десять лет уже деревья стояли, а цвету все не было...

Двенадцать лет он ждал первого грецкого ореха.

Двадцать – миндального зернышка.

...Мы долго ходили по саду. И я впервые близко увидел как растут фисташка и лещина, грецкий орех и миндаль, орех горный, орех маньчжурский, орех американский... Самым старшим деревьям уже было за 30. На каждом дереве – бирочки с номерком, о каждом – записи в специальной тетради.

Мы тогда поговорили с хозяином целую ночь. И я понял как нелегко ему все это далось. На рощу ушли десятилетия терпеливого труда, нужд и лишений. Но вот он результат – почти три сотни южных деревьев ореховых культур! Откуда он только не выписывал с разными оказиями семена. Из Крыма, Дальнего Востока и Кушки, Баку и Тбилиси собирал он "гостей" в своей диковинный сад.

Особые хлопоты доставил ему “миндаль сладкий” – растение субтропиков.

С трудом достав семена из Никитского ботанического сада, он высадил их в последний год войны – в 1945-ом. Семена взошли, но ростки хирели и гибли один за другим. Шайдуров уверился, что для миндаля здесь есть все, что нужно, и продолжал искать. Он знал, что в Таджикистане растет дикий миндаль, и упросил знакомого, который собирался в Душанбе, купить ему килограмм косточек. С великой радостью он получил на почте посылку, не чувствуя под собой ног, понес в горы. Он взвешивал и измерял семена, подыскивая каждому свое место. Ведь на горном склоне разница даже в один метр много значит.

В первый же год из двухсот проросших стебельков он сохранил половину, оставив только сильные. Часть вымерзла, но оставшиеся несмело зацвели раньше других деревьев и сразу освежили ореховую рощу. А жизнь Шайдурова наполнилась новым смыслом.

Черенок с первого побега он привил на выросшую в здешней земле молодую сливу и постепенно убрал материнские стебли. Он пробовал на вкус лепестки миндальных цветов и миловал те растения, цветы которых отдавали сладким.

И победил! Прижился миндаль, наш, казахстанский, целых восемь сортов. А ореховые деревья уже поднимались в третьем поколении.

Нельзя ведь десятилетиями что-то выращивать не имея на то средств и поддержки. Шайдурову приходилось и выжигать уголь, чтобы жена потом продавала портным для утюгов, по 15 копеек за мешок. Одно время он разводил кроликов. Потом был сотрудником в Академии, учительствовал и вплоть до самой пенсии работал в Казахском институте земледелия. 20 лет, почти каждый день он спускался со своих гор и шел на службу через горы и город, “накручивая” иногда за день больше десятка километров. Только лунные ночи и рассветы он мог отдавать ореховой роще. И Шайдуров, интеллигентный человек с высшим образованием, трудился не разгибая спины, не гнушался самой черной

работы. Он научился паять, шить сапоги, стирать и столярничать, препарировать чучела птиц и фотографировать. Кроме того, он мог подковать своего верного помощника ишака Асика. И это не мешала ему писать статьи в научные журналы и сочинять стихи.

Вот одно из них. - "Маски, которое случайно я обнаружил в его архиве спустя многие годы. Романтиком был Вячеслав Николаевич. Живя отшельником, почти монашеской жизнью он раздумывал о судьбе которую избрал".

*... Мысли, мысли в черных масках,*

*Все кружится в голове.*

*Подойдут и шепчут страстно*

*Свои сказки в ухо мне,–*

и далее о книгах и театре, знакомстве с всесильными людьми, о любви, о лесах и горах, о поэзии и т.д...

Со временем Шайдуровский питомник стал знаменитым. Осенью хозяин собирал почти четверть тонны орехов и большую часть раздавал садоводам-любителям из соседних тогда колхозов. Да и самой Алме-Ате сегодня плодоносят деревья из семян Шайдуровской рощи. Здесь побывали в разное время многие ученые, агрономы. Вот один из отзывов: "Шайдуров открыл своей работой новое направление в развитии плодоводства в Казахстане".

Преподаватели Казахского сельскохозяйственного института, провожая из стен вуза молодых агрономов, советовали выпускникам:

- Загляните обязательно к Шайдарову. Он покажет вам то, чего вы никогда не видели.

Молодежь приходила в ореховую рощу, и шайдуровские деревья и его импровизированные лекции придавали им уверенность в своих силах, учили мечтать.

* * *

Но что же дальше? Стареющий Шайдуров трудился своих, но прямой конкретной помощи от государства он так и не получил. Совхоз "Горный гигант", не мешал, ставшего авторитетным в здешних краях селикционера, даже одно время выделил в помощь ему рабочего. Но

этим и ограничились. Хотя имя и дела его были известны всему Семиречью. Садоводы-любители издалека приезжали за семенами и саженцами и Шайдуров никогда никому не отказывал.

...После нашей встречи явилась моя публикация "Миндальный цвет" в руспубликанской молодежной газете "Ленинская смена" (17.IV/1966 г.) которая выходила тогда тиражом почти в четверть миллионов экземпляров. Мы получили много откликов от читателей. Стали писать о Шайдурове и в других газетах. Сняли даже документальный фильм.

Но, к сожалению, он его не увидел, 80 летнего Вячеслава Николаевича не стало осенью 1967 года.

Его похоронили здесь же, в саду рядом с Елизаветой Степановной Шайдуровой. Так он хотел. Из соседнего совхозного поселка пришло много людей проводить в последний путь хорошего человека.

Шайдуровская роща как бы осиротела. Стал сюда забредать скот, дачники начали растаскивать молодые саженцы.

Писатель М. Зверев, один из немногих, кто был активно обеспокоен сохранностью удивительной рощи; добился распоряжения бывшего тогда Министерства плодоовощного хозяйства чтобы совхоз взял под охрану редкие деревья. Но все это оказалось полумерами.

Видные академики А. Полосухин, Б. Быков, Е. Гвоздев и другие обращались в различные министерства и ведомства с просьбой взять под опеку уникальную рощу. Вице-президент Академии наук Казахской ССР академика А. Полосухин тогда писал: "Шайдуров открыл своей работой новое направление в развитии плодоводства в Казахстане и доказал, что республика имеет у себя, на территории Заилийского горного массива, большие возможности для развития многих более южных плодовых растений. До сих пор плоды их Казахстан вынужден ежегодно приобретать извне, расходуя на это большие средства..."

Шли годы. Писались письма во все инстанции. Помялись перья, и только в 1984 году после моего выступления в "Известиях", Алматинский облисполком

принял решение, согласно которому шайдуровский сад объявлялся памятником природы местного значения. Рекомендовано рассмотреть вопрос о дальнейшем развитии орехоплодных культур на основе рощи Шайдурова. Облисполком обязал также дирекцию совхоза обеспечить полную сохранность уникальных растений и уход за ними. Казалось бы, все решилось.

Несколько раз мы с Максимом Дмитриевичем и сотрудниками Академии наук наведались на участок энтузиаста-селекционера. Но там мало что изменилось. Вот разве что вывеска появилось "да егерь соседнего кордона тогда Алматинского заказника приглядывал, чтобы отдыхающие не грабили ореховый урожай".

* * *

... Пришло время рыночных отношений. "Горный гигант" перестал быть совхозом, и многие свои участки передал частным арендатором. Стали делить угодья и сады, городить заборы. Наложил некий хозяин свою лапу и на весь когда-то гремевший на всю страну своим душистым апортом и отменным виноделием "Горный гигант".

Роща Шайдурова потеряла своего главного покровителя.

Единственный, кто приглядывал за ней, - это Володя Зверев (сын известного писателя), заведующий Алматинским заказником, чей кордон стоял у подножья ореховой рощи.

Он и позвонил мне как-то весенним утром и тревожным голосом сообщил, что рощу вырубают. Он остановил на горной дороге тяжеловесный "Камаз", доверху заполненный стволами ореховых деревьев. Для мебельщиков – это бесценный материал. Владимиру Максимовичу сунули под нос какую-то бумажку – разрешение на порубку и грубо столкнули на обочину. Что мог он один, да еще невооруженный, сделать с тремя тяжеловесными джигитами. Единственное, – записать номер машины.

С этим-то номером мы и отправились в бывшее

правление совхоза, то бишь какое-то товарищество.

За столом начальника возлежал расплывшийся человек с двойным подбородком и в тапочках на босую ногу.

Он смотрел, не моргая, узкими глазками. Когда я предъявил ему редакционное удостоверение и задал вежливо вопрос по существу дела, он громка обиделся. Даже вскипел: “Выслужиться хотите, сенсации вам надо!”

Мы поняли, что этот человек все знает, но ничего не скажет.

Я напечатал тогда об этом варварском случае в газете.Городское общество охраны природы тогда пыталось найти какие-то концы. Но непробиваемая стена невнимания сдерживала все добрые позывы к справедливости.

Разные времена – разные люди.

... Буквально на днях, в конце сентября вместе с заместителем председателя Казахского общества охраны природы Александром Войцеховским, мы на его старенькой “шестерке” отправились в горы. Рощу с трудом нашли. Стальная дверь кордона были на крепком замке. Вокруг все заросло и по-новому обстроилось. Домик Шайдурова полностью сровнялся с землей, могилки супругов – тоже. Насчитали мы шесть десятков высоких стволов. Кое-где новые живые побеги миндаля

М. Зверев в гостях у В. Шайдурова

и орешника. Плодов не было видно. То ли – их обобрали, то ли неурожайный год выдался. В шуршащей под ногами листве, мы с Александром Николаевичем нашли косточку миндаля и несколько крупных орехов в зеленой кожуре. Плодоносит все-таки сад, хотя и надвигаются на него горные заросли.

Но кто здесь хозяин? В городе я обзвонил несколько организаций - институт плодоводства, ботанический сад, национальные природные парки… Везде один ответ – нет в их ведомствах такого резервата, и никто орехоплодными культурами не занимается.

Но ведь есть же местные подразделения областного управления лесного хозяйства, где-то и лесники бродят. Но видно далеки остатки уникальной рощи от их забот.

Земли ведь лесхозовские.

Шайдуровский питомник – это своеобразный природный посредник. Культуры, выращенные здесь может уверенно районировать в других садах. Разве можно терять такую ценность, созданию которой садовод-энтузиаст посвятил целую жизнь!

… Сегодня в республике развернулось молодежное движение “Жасыл - ел”, занимающиеся озеленением городов и сел. Почему бы молодым людям, особенно студентам-аграрникам из Алматы не повернуться лицом к шайдуровской роще. Конечно, не без помощи организации занимающихся возрождением алматинских садов.

И еще: многие высказывают пожелание назвать именем Шайдурова одну из предгорных улочек Алматы. Ведь почитай в каждом саду здесь есть хоть одно ореховое дерево родом из его рощи. Или миндаль сладкий. Нос горчинкой он стал.

# ИСКАТЕЛЬ ПОДЗЕМНЫХ МОРЕЙ

## *Беседа у фонтана с академиком Уфой Ахмедсафиным*

Он всю жизнь искал воду там, где раньше ее никто не искал – в степях и пустынях. Его судьба показательна еще и тем, что направление своей жизни ему пришлось выбирать в нелегкое время и люди, с которыми он встретился еще очень молодым, помогли ему развить его способности и дарование. Он знал, к чему стремился, потому что это стремление было продиктовано самим укладом жизни, из которой он вышел. Он жаждал изменить и улучшить ее.

...Мы встретились с ним в скверике в центре бывшей Алма-Аты у каскада фонтанов. Рядом с водой конкретнее говорить о воде.

Было жаркое лето и взрослые с удовольствием и некоторой завистью смотрели на ребятишек, что плескались под прозрачными струями. Им все дозволено. Мы сидели на скамейке и тоже смотрели. Мой собеседник худощавый загорелый человек, невысокого роста, в старомодной соломенной шляпе. Есть в его неброской собранности что-то юношеское, хотя знаю, что ему уже было за шестьдесят. Он был академиком Академии наук Казахской ССР, директором института гидрогеологии

и гидрофизики, доктором наук, профессором, Героем Социалистического Труда. Уфу Мендыбаевича Ахмедсафина мои коллеги по перу нередко награждали самыми неожиданными эпитетами и сравнениями. Его называли и «Нептуном» не из легенды», и «лоцманом подземных морей», и даже «Джамбулом в гидрогеологии». Стоит признать, со скидкой на красивость, что истина в этих сравнениях просвечивалась.

Мы смотрим на ребятишек и воду. Мы говорим о воде. О его детстве.

Ему едва исполнилось четыре года, когда отец и мать умерли от тифа. Это было в 1916-м. Мальчика из «милосердия» подобрал местный бай. До девяти лет маленькому Уфе пришлось выполнять разную нелегкую для пацана работы: он чистил конюшню, колол дрова, пас овец. Прогоняя отару через высохшую от зноя степь к редкому, чуть ли не единственному на всю округу родничку, он уже тогда удивлялся: откуда здесь на раскаленной земле появляется вода? Хоть и мало ее, и пересыхает родничок, и заносит его песком, и напиться, порой, можно только через камышинку, – но все же это вода, холодная и сладкая, которой цены нет под белым солнцем пустыни. Отчего и почему? Он был любознательным, как всякий мальчишка. Почему среди барханов встречаются зеленые островки и там старики-чабаны непременно находят воду. Вот бы если ее очень много, тогда в степи не будет голодных. Но как ее добыть, с кем поделиться? Хозяин только кричит, попрекая хлебом, заставляет работать с первой зарей, обрывая неспокойные сны.

...Уфа Мендыбаевич задумчиво смотрит на ребят у фонтана и говорит: «Вода, вода, часто нам ее не доставало в детстве». А потом вспоминает легенду. Бог, создавая землю, забыл о казахских степях. Но нельзя, чтобы место оставалось пустым. И он спешно начал все перестраивать. Из Сахары перенес песок, благо его там хватало на всех. От Гималайских гор отломил большой

массив, из океана плеснул соленой воды, а о пресной в спешке забыл...

...Эта невеселая притча только разбудила в нем желание искать воду.

После установления Советской власти по указанию аульного Совета местный учитель отобрал маленького пастушка у бая и отправил его в приют. Его одели, накормили, приласкали. А позже школа-интернат, учеба, комсомол. Он живет энергично, как его сверстники в те годы. Они помогают убирать урожай, охраняют склады риса от расхитителей... Уфа много читает, учится страстно, самозабвенно. Юноша чувствовал себя в долгу перед своей землей, перед своим народом. В семнадцать лет он твердо решил стать гидрологом. После восьмилетки как одного из лучших его направляют в Ташкент в Среднеазиатский горно-геологический институт.

...Фонтан перед нами вдруг замер и затих. Он, словно вздохнул и прилег на время. Люди недовольно вскинули головы. Скоро душно и горчо потянуло от ближнего раскаленного асфальта. Ребятишки вылезли из воды и вытянулись на теплом граните.

Даже маленький источник создает свой микроклимат, управляет жизнью. Люди уходили с тех мест, где пропадала вода. Высохшие колодцы засыпались песками. Все объяснялось волей аллаха. Ахмедсафин вспоминает.

...Муюнкумы. Жара в тени до пятидесяти. На солнце намного больше. Верблюды не выдерживали. На привалах их покрывали спальными мешками, присыпали песком с теневой стороны барханов. Вода на исходе. А экспедиция Ахмедсафина искала ее. Здесь в самом сердце пустыни. За спиной молодого ученого был уже опыт работы в Ферганской долине, Киргизском Алатау, московская аспирантура.

Искать воду среди барханов, вдали от гор и оазисов считалось в то время делом, мягко говоря, несерьезным. Откуда ей здесь быть. Осадков мизерное количество и они быстро испаряются. А вода нужна стройкам первых пятилеток: Турксиб, Караганда, Балхаш, Джезказ-

ган. Рудники, шахты, заводы, обогатительные фабрики. Многие экспедиции возвращались с огорчительными данными: воды не обнаружено, запасы ограничены, есть источники, но сильно засоленные.

Но почему рождаются пресные родники среди пустыни, на дне засоленных озер, откуда черпают живительную силу зеленые камыши и травы среди барханов, где теряются реки, бегущие из горных ущелий? Только ли снег и дождь поят пустыню? Ведь вся эта влага, попадая на такыры, моментально засоляется. Значит источник подземных пресных вод скорее всего иной, не местного происхождения, - еще раз задумывался над этим молодой ученый.

Специалисты тогда считали, что родники в пустыне имеют глубинную магматическую природу, другие настаивали на их полной зависимости от атмосферных осадков. Предупреждали, что запасы подземных вод крайне невелики и непостоянны. Ахмедсафин читал, что в Африке, например, старейшины оазисов не позволяли расчищать источники, боясь, что они потеряют силу. В Австралии, где большинство пастбищ и селений снабжается подземной водой, также выражали по этому поводу серьезное беспокойство.

Ученый обращает внимание, что на разных континентах пустыни, где встречаются водные источники, они соседствуют с горными массивами. Такая же картина наблюдается и в Казахстане: Тянь-Шань, Мугоджарские горы, Мангышлак... Осадков здесь выпадает в десять раз больше, чем в степи. Но куда теряются стоки, паводки, миллионы кубометров воды? Если бы они только впитывались в грунт, то у предгорьев образовались бы гигантские болота. И Ахмедсафин делает интересное предположение, которое вырастет потом в стройную гипотезу. «Скорее всего наземная вода уходит в фильтрующие пласты. Они могут тянутся на многие сотни километров под уклон со стороны гор, пока не встретят на пути прочную породу. Здесь вода скапли-

вается, образуя подземные «моря» и «озера» или выбивается на поверхность стойкими родниками. Эти накопления происходят тысячелетиями. На разных глубинах, впадинах и структурах. Гигантские резервуары, засыпанные сверху пластами песков, медленно и терпеливо накапливают влагу. Есть она наверняка и в Кзылкумах и Муюнкумах, в Бетпак-Дале и в низменностях Арала и Каспия, в Центральном Казахстане... Но это надо было доказать.

Тысячи километров по пустыням прошли казахстанские гидрогеологи, которые работали под руководством Ахмедсафина. Пробурены сотни скважин в самых неожиданных местах. И гипотеза подтвердилась. Вода есть, очень много воды. Там, в глубине, под барханами.

Перед учеными стояла задача не только теоретически обосновать механику движения подземных вод, но, что самое главное, представить географию этих гигантских скрытых бассейнов, подсчитать их запасы и возможность использования.

Если раньше, на заре казахстанской гидрогеологии (в сороковых годах) поиски были узкими, локальными, то Ахмедсафин предложил подходить к исследованиям комплексно, учитывая строение обширных гидрогеологических районов и условий поведения подземных вод в различных природных условиях... Словом, была выработана целая научная школа новых методов поиска.

Шли годы, многие годы. Люди выходили в экспедиции, проверяя тезисы и догадки, писали отчеты и диссертации. Деталь за деталью, положение за положением - накапливался большой фактический материал, к которому причастны не один десяток первопроходцев и исследователей. И пришло, наконец, время, когда Уфа Мендыбаевич сказал своим сотрудникам: «Будем составлять прогнозную карту артезианских бассейнов...» Тогда он уже возглавлял институт гидрогеологии и гидрофизики Академии наук Казахской ССР.

Я видел эту карту. За цветными разводами линий их

угадывались моря и реки без берегов и прибоев. Размеры их поражали. 70 артезианских бассейнов общей площадью более полутора миллиона квадратных километров. Это почти 25 Азовских морей. Предположим, если бы все эти запасы влаги можно было бы поднять на поверхность, казахстанские пустыни покрылись бы девятиметровым слоем воды.

Что же уже было сделано в то время?

...Академик немного помедлил, потому что опять, словно отдохнув, вздрогнули фонтаны перед нами и серебристые струи, набирая силу, прорезали жаркий воздух. Снова повеяло свежестью.

– Ну хотя бы взять вот этот фонтан. Более двух третьих воды столица Казахстана получает из артезианских скважин. И не только столица.

Еще 37 городов, многие населенные пункты и промышленные предприятия, 70 млн. гектаров пастбищ. А ведь этого до обидного мало. Дебет каких-то 50 метров в секунду, хотя, мы считаем, можно забирать воды в десятки раз больше. Это реальные прогнозы.

Что же мешает?

Видно, это наболевший вопрос. На него академик Ахмедсафин отвечает взволнованно, но обстоятельно. Дело в том, что некому по-настоящему взяться за бурение, эксплуатацию скважин, нет насосного оборудования в нужном масштабе. Нет пока в республике такой крупной специализированной организации, которая была бы связывающим звеном, допустим, между гидроразведчиками и земледельцами, чабанами. Существующие скважины невелики и по объему и, естественно, дают меньшею отдачу.

Большие запасы подземных вод находятся, порой, вдали от населенных пунктов. Так можно создать культурные пастбища на больших площадях. Они просто необходимы для дальнейшего развития животноводства. Естественно, надо строить, вкладывать средства. И вот здесь некоторые с опаской предполагают, что, дескать,

источники со временем могут потерять силу.

– Это невозможно, – говорит Уфа Мендыбаевич. – Подсчитано, что только за счет талых вод ежегодно прибавляется почти 50 милиардов кубометров. А мы забираем лишь половину.

Казахстанская гидрогеология тогда была сравнительно молода. По ряду ее прогнозов были и противник, и сомневающиеся. Много мужества и стойкости потребовалось ее представителям и, конечно же, самому Ахмедсафину, чтобы отстоять свои взгляды.

Сейчас в этом зеленом сквере у фонтана рассказывая о пустынях и подземных реках, о заброшенных каналах и будущем обновлении земли, маститый ученый говорит с горячностью начинающего исследователя и лицо его молодеет.

Ахмедсафин был на совещании партийно-хозяйственного актива республики в сентябре 1976 года. Тогда там выступал даже генсек КПСС, незабвенный Леонид Ильич. Как ни странно, он тоже говорил об основном резерве обводнения пастбищ. Назывались астрономические цифры не менее 5 млн. га оросить, около 150 млн. га угодий обводнить. Но от слов до дела, видимо, тогда было еще очень далеко.

Ахмедсафин думал, что мечта его жизни и его товарищей, наконец, получает утверждение.

Действительно, в Казахстане начали готовить комплексную программу по использованию подземных вод. К ее подготовке подключились ученые, мелиораторы, геологи, планирующие органы. Что касается института, которым руководил Ахмедсафин, то здесь настроились на конкретную работу: уточняли водные запасы в различных зонах и районах, минерализацию вод, условия их залегания. Словом, шла интенсивная подготовка к большому практическому использованию подземных морей.

...Мы проходим с Ахмедсафиным по зеленой аллее. На скамейках нет свободных мест: обеденный перерыв

и люди урывают время посидеть у фонтанов. Плеск падающей воды успокаивает, прохлада приносит бодрость. И скорее всего мало кто знает, что этот небольшого роста худощавый человек, идущий мимо, имеет самое непосредственное участие к воде и смотрит на нее несколько по-другому. Ведь он посвятил ее поискам более четырех десятилетий своей жизни.

Буквально в нескольких шагах от фонтанов была аллея Героев, где рядом с известными тогда рабочими большой портрет академика Ахмедсафина. Выглядит он довольно внушительно. Уфа Мендыбаевич шутит по этому поводу, а потом говорит:

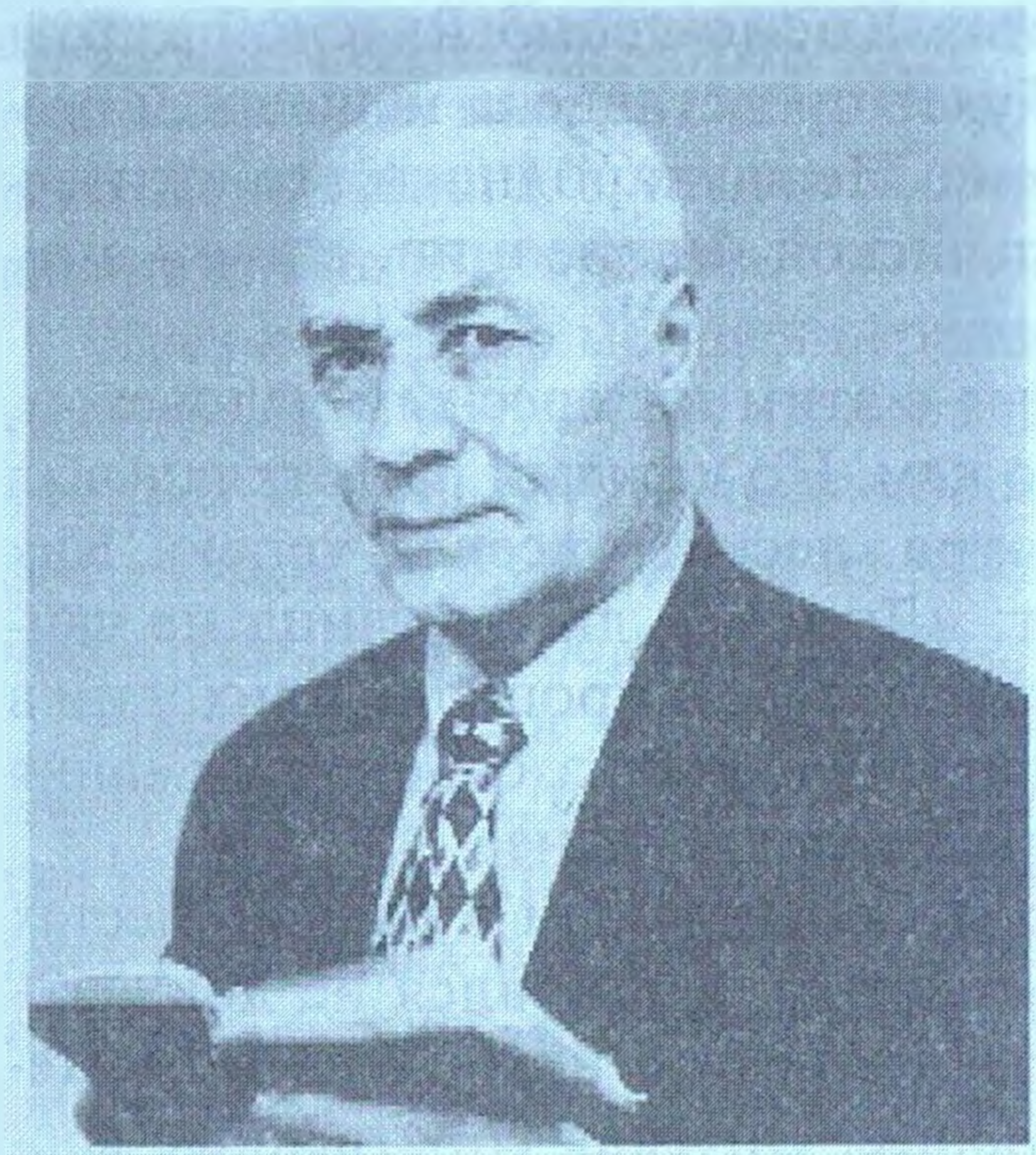
– Не сложись так жизнь у меня, в лучшем случае от подпаска, мальчика на побегушках дотянул бы я свою карьеру до чабана. И то, если бы удалось выжить. Неурожай, болезни, голод... И безводье. Тогда говорили: «Не земля кормит, а вода кормит. И я счастлив, что страна дала мне возможность получить образование и посвятить себя делу столь нужному для людей. – А потом, прощаясь, добавляет. – У этих мальчишек, что плещутся у фонтана, есть большие гарантии для творчества.

...Давно не стало Уфы Мендыбаевича. Часто прохожу около его дома по улице Шевченко, неподалеку от здания Академии, где висит мемориальная доска в честь его памяти. Прохожу среди фонтанов, где плескались ребята, мимо скамейки, где мы с ним вели серьезный разговор о подземных морях.

Очень надеюсь, что придет время и их поднимут на поверхность земли. Не все сразу. А там, где они очень нужны и где есть люди, способные совершить это.

# ЛИЦОМ К ЛИЦУ – ЛИЦА НЕ УВИДАТЬ

***Казахстанский геолог Борис Зейлик обеспокоен космической бомбардировкой нашей планеты***



В Казахстане это единственный ученый, которого давно волнует данная проблема. Да, пожалуй, по-настоящему, этой темой мало кто занимается в СНГ. Еще молодой геолог из Прибалхашья пришел к своим планетарным прогнозам, благодаря многолетним поискам и своей целеустремленности.

Он автор ударно-взрывной тектоники – гипотезы о формировании лика Земли и новых «космических» подходов в разведке месторождений. Ее разработка и вывела его на проблему космической охраны планеты, волнующую сегодня ведущих ученых мира, которым небезразлично будущее нашей планеты.

Борис Семенович Зейлик родился в Одессе в 1931 году. В школу пошел в Запорожье. Война, эвакуация. Геолого-разведочный техникум закончил в Саратове. Потом работал в Казахстане, учеба в Ленинграде. И снова Казахстан. Теперь на всю жизнь. Почти 20 скитальческих лет полевых работ в Прибалхашье, где в завершении 8 лет возглавлял крупную комплексную геолого-геофизическую экспедицию. А затем 18 лет был

руководителем опытно-методической экспедиции в Алматы, которая первая в отрасли работала по новым компьютерным технологиям, являясь «мозговым центром» бывшего Министерства геологии Республики. Сегодня – доктор наук, профессор Борис Зейлик работает в «Горно-экономическом консалдинге». Он бессменный преподаватель в единственном в Казахстане лицее космического природоведения, где готовят молодежь, настроенную на очень серьезные специальности. Б. Зейлик – главный энтузиаст создания Космо-геологической карты Казахстана, которая будет представлена нынешней осенью на XXXII-ой сессии Международного геологического конгресса в итальянской Флоренции, где он выступит с докладом.

Я много лет общался с этим интересным человеком. И все хотел написать о нем. Но каждый раз откладывал эти намерения на завтра, дескать всегда успею. Как писал известный поэт: «Лицом к лицу – лица не увидать». Нередко мы, оглядываясь в прошлое, приходим в досадному выводу, что упустили из своего внимания нечто большее, чем представляли ранее.

Встречаясь с Борисом Семеновичем в разных местах и по разным обстоятельствам, я старался не докучать ему вопросами. Но со временем из накопленного материала вылилось следующее. Опуская собственные вопросы предлагаю читателю его рассказ без лирических отступлений.

## *Большое видится на расстоянии*

Впервые я познакомился с кратерами на Камчатке, будучи студентом-практикантом. Деятельность вулканов – это богатейший материал для геолога. Получив диплом и оказавшись в Казахстане, я стал искать следы древних вулканов или так называемых кольцевых структур (КС). Заметил, что большинство из них довольно большого диаметра. Их трудно увидеть, находясь на земле. Как говорил поэт: «Лицом к лицу – лица не уви-

дать, большое видится на расстоянии». Понимал, что надо набирать высоту.

Первые аэросъемки мы делали с ЯК-12А в начале шестидесятых годов в районе Актогая Карагандинской области. Поднялись на 4,5 километра. Уже тогда достаточно ясно были видны кратеры бывших вулканов. В 1964 году я написал записку в Министерство геологии СССР о необходимости применения фотографирования из Космоса и с больших высот для поиска перспективных структур. Я был тогда никому неизвестным геологом поисковой партии, затерянной в степях Центрального Казахстана. Но у меня был возраст Христа, большие надежды и энтузиазм.

Через несколько месяцев переписки к моей радости и удивлению в Алма-Ату прислали самолет полярной авиации ИЛ-18, специально оборудованный для аэрофотосъемок. Меня вызвали из Агадыря, и мы несколько часов утюжили небо над степью.

Знакомые места увиделись совсем в ином свете. На аэрофотоснимках, которыми пользовались геологи, многие кольцевые структуры были разорванными, оказались на разных планшетах и, естественно, ускользали от взора. Сейчас же, с высоты 11 километров, обращало на себя внимание обилие ранее невиданных КС в несколько десятков и даже сотен километров, которые нельзя было представить прежде.

Через год работы были продолжены уже с ИЛ-28, предоставленного НИ летно-испытательным центром, возглавлявшимся некогда известной летчицей В. Гризодубовой. Потолок бывшего бомбордировщика достигал уже 13 километров. Стало совершенно очевидным обилие разномасштабных КС. Некоторые были плохо различимыми, почти стертыми в течение миллионов лет водой, солнцем и ветром. Иные можно было увидеть только в косых лучах заходящего солнца, подчеркивающего складки рельефа.

Могли ли быть кратерами вулканов следы гигантс-

ких колец на поверхности земли? Едва ли. Но если это не остатки вулканов, то что это?

## *Неземные архитекторы планеты Рождение гипотезы*

В конце шестидесятых прошлого столетия геологи начали активно пользоваться космическими снимками. Чему способствовала и отработанная нами методика съемок с больших высот. Но я и мои коллеги по экспедиции не просто накапливали аэрофотоматериалы и обрабатывали их на ЭВМ. Из районов кратеров мы брали пробы, делали анализы, проводили бурение, изучали данные сейсмической разведки и т.д.

Исследования показали в большинстве случаев отсутствие признаков магмы или каких-либо остатков магматической деятельности в обнаруженных КС. Тогда напрашивалось единственное объяснение их природы – метеоритное.

Я не первооткрыватель подобных кратеров. Несмотря на древнейший возраст, некоторые из них еще сохранились и достаточно изучены. В Европе были известны 30 таких отметин, в Северной Америке – 26, Азии – 14 и т.д. В Казахстане подробно описан кратер Шунак. Он хорошо виден даже с рейсового самолета Алматы – Москва. Детально изучен советским ученым В. Л. Масайтисом Попигайский 100-километровый кратер на севере Красноярского края. При встрече в 1972 году с Виктором Людвиговичем в Ленинграде я высказал пока еще робкую мысль, что большинство обнаруженных нами в Казахстане КС не что иное, как астроблемы (от древнегреческого «астра» – звезда, «блема» – рана).

Мои откровения особого восторга у именитых коллег не вызывали. Мол, фантазерством увлекся товарищ из какого-то там Балхаша, все это порывы молодой души, не более.

Но мы брали пробы на Семипалатинском ядерном по-

лигоне, а также из стен ущелья в Медео, где гигантским взрывом была создана высотная плотина. Исследования показали, что только ядерные и метеоритные удары дают характерные преобразования пород мишени. Иным путем их вызвать нельзя.

В 1973 году я делаю доклад на эту тему на Всесоюзном металлогеническом совещании в Иркутске, описав 750-километровую Ишимскую кольцевую структуру в Центральном Казахстане. Сообщение публикуют в докладах Академии наук СССР, по представлению ныне покойного академика В. И. Смирнова, далее статью перепечатывают американцы. Это была первая публикация о гигантской метеоритной структуре на Земле и связи с нею рудных месторождений. Я ввожу новый термин – «гиаблема», т.е. гиганcткая астроблема. Мне присылает свой положительный отклик Роберт Дитц – американский геолог, один из создателей новой глобальной тектоники, автор термина «астроблема».

Позже наша экспедиция ведет исследования Прибалхашско-Илийской гиаблемы с поперечником 800 километров и Токрауской КС диаметром 220-250 километров. Здесь также обнаружены специфические симптомы, магнитные аномалии, осколки застывшего расплава и многие другие признаки метеоритного удара.

Изучая Казахстан, как полигон космической бомбардировки, в сочетании с информацией со спутников, орбитальных станций и зондов, имея возможность сравнивать геофизические и геологические данные, мы построили схему распространения предполагаемых гиаблем не только в нашей республике, но и на всей поверхности Земли.

В 1973 году я пришел к выводу о необходимости обоснования своих наблюдений в новой геотектонической концепции – ударно-взрывной тектонике.

Хотя наша профессия не потеряла своей романтичности и по-прежнему геолог «ветру и солнцу брат», наиболее дальновидные из них предпочитают не бродить по земле вслепую.

Согласно моей концепции, большинство полезных ископаемых приурочены к космогенным КС, что и позволяет прогнозировать поиски рудных тел, прикрытых многовековыми слоями рыхлых осадков и поэтому недоступных прямому наблюдению.

Если брать за эталон известные месторождения, то по свойственным им признакам можно вести поиски новых. Так, опираясь на характеристики Медного Коунрада, было предсказано и открыто месторождение Прибрежное. Хорошо вписываются в кольцевую систему и многие нефтяные объекты.

Удалось выявить гигантскую Приаральскую структуру в поперечнике окло 700 километров, включающую месторождение газа в Газли, и нефти в Кумколе. В пределах этой же структуры находятся и нефтегазопроявления на площадях Акшабулак, Аксай, Нуралы, Кзылкия и др.[1]

Что касается алмазов, то в Казахстане их искали еще в начале 50-х годов, связывая разведку с кимберлитовыми трубками. Поиски оказались безрезультатными. Я смею утверждать, что алмазы, как и нефть, встречаются, прежде всего, в древних кольцевых структурах.

Известно, что в формировании нашей планеты немалую роль сыграл углерод. На больших глубинах он испытал такие давления и температуры, что вполне мог кристаллизоваться в алмазы. Поскольку углерода было достаточно, то мог образоваться мощный «алмазный слой», который изредка пронизывала кимберлитовая

---

[1] Недавно Борис Семенович получил Евразийский и Казахстанский патенты на «способ прогнозирования перспективных площадей для поисков месторождений углеводородов. (Э.М.)

магма, выносящая часть драгоценных кристаллов на поверхность. Можно предполагать, что крупные космические тела пробивали верхнюю мантию Земли и выбрасывали на поверхность обломки «алмазного слоя». В подобных случаях можно надеяться на обнаружение богатых месторождений ювелирных алмазов, отличающихся по своим масштабам от традиционных месторождений, приуроченных к кимберлитовым и лампроитовым трубкам взрыва. Что же касается технических алмазов, то советские ученые уже не раз находили их в астроблемах.

Конечно, драгоценности в буквальном смысле не падают к нам с неба. Но нет сомнения, что «пришельцы из космоса» в любом случае играют большую роль в появлении алмазов и образовании многих руд.

## *Метеоритные атаки могут повториться*

Рельеф Казахстанского мелкосопочника практически не отличается от кратерной поверхности Луны, Меркурия, Марса. В этом легко убедиться, сопоставляя снимки планет, полученные с помощью советских и американских космических станций и зондов с фотографиями земной поверхности. Причем во времени образования эти КС, безусловно, разные. Великий русский естествоиспытатель академик В. Вернадский предупреждал: «Мы должны исходить в нашей работе из факта, что наша планета и вся Солнечная система постоянно получают из галактического пространства материальные тела».

Судите сами, только на протяжении текущего столетия территория России трижды подвергалась ударам из космоса (Тунгусский метеорит в 1908 г. и Сихоте-Алинский метеоритный дождь в 1947 г.). А вспомните Стерлитамакский метеорит 1990 года, тревогу по поводу кометы Галлея, сенсационное сообщение американцев в марте 1989 года о прохождении в непосредственной близости от Земли крупного небесного тела. Оно пронес-

лось мимо, на расстоянии по времени всего лишь в шесть часов. А столкновение кометы Шумейкер-Леви-9 с Юпитером в 1994 г.. Масштабы этой катастрофы потрясают. И совсем свежий случай – в декабре прошлого года метеорит всего в несколько килограммов пробил крышу и потолок здания в Шымкенте...

Смею предполагать в рамках своей концепции, что космическая бомбардировка нашей планеты вполне очевидна и в будущем. Не исключают этого и российские ученые и их американские коллеги. Астероид, метеорит, комета могут таранить землю и через тысячу веков, а, возможно, и на следующей неделе. Но никто не знает, когда это произойдет.

В Новосибирске в Академгородке, где я выступал с докладом о космической защите земли, в Вычислительном центре провели интересное математическое моделирование космического удара. Десятикилометровый в поперечнике астероид со скоростью 20 километров в секунду за 2,7 секунды на экране дисплея вошел в нашу планету на 30 километров, вызывая множество катаклизмов, равных взрыву всех ядерных зарядов на планете, умноженных в 10 тысяч раз.

«Отец американской водородной бомбы» Эдвард Теллер еще несколько лет назад предупреждал мир о космической опасности и предлагал посылать навстречу таким объектам атомные заряды. Не случайно осенью 1994 года 86-летний американский ученый, собрав силы, нашел возможность посетить российский ядерный город Снежинск (Челябинск-70) для участия в Международной конференции по проблемам защиты Земли от столкновения с опасными космическими объектами (SPE-94). Более чем 300 специалистов, асов мирового военно-промышленного комплекса, пришли к выводу: «Если мы не остановим космическую бомбардировку, то она остановит нас».

От автора: «В газете «Наука Сибири» в отчете с конференции читаю: «...Доктор геолого-минералогических наук Б. Зейлик был фактическим инициатором данной

темы. Он пока единственный в Казахстане специалист по импактным структурам, настоящий энтузиаст, и именно благодаря его участию в конференции был поднят флаг Казахстана. Не удивлюсь, однако, - пишет авторитетный российский коллега, - если там об этом и не подозревали».

Автор как в воду глядел. В Казахстане не было большой прессы, ни громких телевизионных интервью по поводу гипотез и предсказаний Б. Зейлика. Планетарная проблема прошла, как говорится, в рабочем порядке. В свое время Борис Семенович писал докладные президенту Академии наук СССР, министру иностранных дел, чтобы сообща, усилиями всех стран, повернуть военный потенциал к вопросу космической защиты Земли. Но Союз развалился, на Земле идет борьба с терроризмом. И угрозы из Космоса по сравнению с земными выглядят так нереально. А казахстанскому ученому хочется одного, чтобы его гипотеза проверялась и развивалась в геологических изысканиях.

30 лет назад на геологической карте бывшего СССР не значилось ни одной КС. На изданной в 1982 г. Космогеологической карте СССР их показано около 5 тысяч. Большая часть из них не установленного происхождения.

В то же время, лишь изучая КС, определяя их возраст, можно подойти к оценке частоты и периодичности предполагаемых космических бомбардировок нашей планеты. Здесь нужны свои энтузиасты. И, опять же, отбор и проверка полезных идей временем.

Конференция в Снежинске в 1994-ом заслуживает того, чтобы на ней остановиться более подробно. На ее эмблеме изображен щит, прикрывающий земной шар.

Впервые для такой, можно сказать исторической встречи больших и светлых умов Мира был открыт страшно секретный атомный город, значившийся под кодом Челябинск-70. На карте его нет, нет и каких-либо дорожных указателей, и хотя он расположен примерно посредине между Екатеринбургом и Челябинском, их

жители знали о Снежинске только по непроверенным слухам.

Сотрудник Сибирского отделения Российской академии наук, ныне покойный, профессор Эмиль Изох, участник конференции, вспоминал в «Науке Сибири»:

«Из более чем 300 участников конференции лишь несколько человек представляли Украину, Белоруссию и Казахстан, но в центре внимания, разумеется, была делегация США во главе с «отцом» американской водородной бомбы профессором Э. Теллером. Соответственно, рядом с флагом России были вывешены флаги всех названных государств.

В этом событии многое было необычно и даже сенсационно: и допуск самых разных лиц, от зарубежных «секретных» деятелей до журналистов, в закрытый город: и впервые представленная возможность специалистам самых разных профессий (как ученым, так и практикам) познакомиться друг с другом и найти общие интересы. Всем участникам конференции впервые была представлена возможность посетить музей ядерного оружия. Интересно, какие чувства испытывал Э. Теллер, когда ему демонстрировали макет нашей первой водородной бомбы?

Был полный простор для контактов, обсуждений, договоренностей, и при этом – никаких видимых признаков «свидетелей в штатском», что само по себе говорит о многом.

На табличках с именами никаких титулов обозначено не было. В этом свободном общении каждый знал друг друга по публикациям. Для общих проблем – нет в мире границ.

В зал заседаний после получасового ожидания ввели (внесли?) 86-летнего Эдварда Теллера, сгорбленного, очень старого и усадили в первый ряд, в окружении коллег-земляков. Рядом сидящую переводчицу внимательно слушали все американцы, кроме, казалось, одного Теллера, который сидел, закрыв глаза, ни на что не реагируя. И было удивительно услышать, когда он вдруг,

после очередного доклада, зычным баритоном, слышимым на весь зал, задал пару вопросов, а затем, не вставая с места, прокомментировал четко и ясно и этот, и некоторые предыдущие доклады. Прекрасно был сделан им и 20-минутный доклад, от начала до конца в ровном, энергичном тоне, с четким произношением, понятным не только профессиональным переводчикам. Хочется привести некоторые высказывания Э.Теллера, не вошедшие в опубликованный вариант доклада. «Любые политические утверждения неверны!». «Имеющегося ядерного оружия достаточно, в новом нет жесткой необходимости». «Защита от астероидов более проста, чем от землетрясений или вулканов». «Расчеты важны, но еще важнее эксперименты». «Мы должны вместе противодействовать увеличению страха в обществе» и т.п.

Конференция занималась вполне серьезным делом, вполне достойным современного уровня цивилизации. И тот очевидный факт, что за всем этим кроется и желание сохранить уже накопленный потенциал ВПК и программы СОИ, и желание «пострелять» хотя бы в космосе, ничего не меняет. Человечество уже пережило глобальную катастрофу 10 тысяч лет тому назад и сотворение нового мира. Предотвратить еще один апокалипсис ему теперь вполне по силам.»

Часто так бывает. Живет человек рядом, встречаемся, здороваемся, перезваниваемся, а потом выясняется, что он озабочен планетарными проблемами и признанный в мире специалист. Нечто подобное вырисовывалось у нас и с Зейликом. Ну, начальник партии и начальник. У нас десятки геологических коллективов, но Борис Семенович оказался человеком особенным. Он в силу своего аналитического склада ума не замкнулся на прикладной науке, а стал развивать се планетарно. Наверняка найдутся скептики, утверждающие в процентной бесперспективности «чистой» науки. Это потом мы вспоминаем о предсказаниях и гипотезах, когда «петух клюнет». Но современное мировое сообщество находится на таком уровне развития, что реальность некоторых катаклизмов все чаще удается просчитывать.

Я держу в руках уникальный снимок участников международного совещания SPE-96 в Челябинске-70. И мне приятно, что в центре этой группы светлых голов и думающих мыслителей – мой друг и земляк профессор Борис Зейлик.

Я внимательно прочитал его доклад, подготовленный для Сборника работ казахстанских геологов к XXXII сессии Международного Геологического Конгресса во Флоренции. В нем много убедительных фактов, порой, впечатляющих. Для ясности приведу его полное название: «Проблема космической охраны планеты для сохранения жизни на Земле (к определению частоты и периодичности недавних космогенных бомбардировок на основе массового выявления молодых астроблем». Важно, что основанием для постановки такой проблемы, впервые обратившей на себя внимание мирового сообщества в 1988 году, послужили многолетние исследования казахстанского ученого на территории республики. Актуальность темы была отмечена в меморандуме Американского института аэронавтики и астронавтики: «Если однажды астероид столкнется с Землей, уничтожив не только человеческий род, но и миллионы других видов живых существ, а мы, имея возможность предотвратить катастрофу, не сделаем этого из-за отсутствия решимости, неправильных приоритетов, неверной оценки риска или несовершенного планирования, то пренебрежение нашим даром разумного предвидения и ответственности за собственную жизнь и все живое на Земле явится величайшим актом самоотречения во всей человеческой истории».

Интересно, что специалисты, анализирующие данные, недавно рассекреченные Министерством обороны США, опубликованные в специальной главе книги «Опасности, исходящие от комет и астероидов», отмечают что за 17 лет, с 1975 по 1992 год, спутниками было зарегистрировано 136 космических взрывов, соразмерных с энергией атомной бомбы, т.е. в среднем по 8 взрывов в год. Однако, предполагается, что интенсивность

бомбардировки Земли в 10 раз большая, нежели регистрируемая космическими кораблями на орбите. Эти взрывы видны с Земли как яркие вспышки на секунду-другую. Но лишь немногие из них наблюдаются и фиксируются из-за неравномерности заселенности нашей планеты.

Б. Зейлик делает вывод: «Выявление частоты и периодичности космических бомбардировок с целью их прогнозирования – задача геологов и геофизиков всей планеты».

А теперь о самой личности Бориса Семеновича. Его мама – Рубцова Анастасия Николаевна, не кончила гимназию в связи с революцией и, будучи дочерью царского чиновника, дослужившегося до личного дворянства, не смогла получить высшего образования. Отец – Зейлик Семен Маркович в силу разных обстоятельств также не смог окончить Одесский политехнический институт, где доучился до четвертого курса. В семье было трое детей. Борис был старшим. На первый взгляд, может показаться, что все в жизни у него по плану сложилось: школа, институт, геологическая партия и т. д.

Но все было не просто с самого начала. Он рос в семье с небольшим материальным достатком, почему, не имея возможности доучиться в школе до конца, после 8-ми классов, которые закончил на отлично, поступил в техникум на геолого-разведочный факультет, где платили большую стипендию. Закончил Саратовский техникум также с отличием. Работал в Казахстане, подал заявление в Ленинградский горный институт – один из самых старейших технических институтов России. Там отличников принимали без экзаменов. Поступил не по первому заходу. Не оказалось той самой справки о том, что он отличник. Пока ее сыскали – прошло время. Документы у него не приняли. Деньги кончились. В общем как-то выкарабкался.

А когда закончил вуз, первым в группе по всем показателям, мог быть принят в Академический научный институт – не получилось: не было ленинградской прописки. Те, кто остался, долгое время были, да и сейчас остаются большими научными начальниками в России.

Может быть, к счастью, что все так случилось, и Борис снова оказался в Казахстане, хотя получил распределение в Магадан, но его ангелы-хранители решили именно так.

Здесь в Прибалхашье он встретил свою супругу - Элеонору Сейтмуратову, тоже геолога,доктора геологических наук, с которой они вырастили прекрасных детей.

Тимур родился в 1971 году. Окончил факультет журналистики КазГУ и Евразийский институт рынка. Ныне успешно работает в бизнесе.

Дочь-красавица Наташа – выпускница Казахской юридической академии. Изучала международное право, училась в магистратуре Лондонского университета. Сейчас работает в Варшаве по линии ОБСЕ в Офисе демократических институтов и прав человека. В семье – внучка, дочь сына – Лейла, пошла в школу. Борис Семенович считает, что она уже очень самостоятельная личность.

Такая вот семья, в которой планетарные проблемы не мешают семейному счастью и наоборот.

# ТРОПА НА ЧИМБУЛАК

## *Сарым Кудерин, Алексей Марьяшев, Александр Лухтанов – люди, окрыленные поиском*

*Сарым Кудерин в студенческие годы*

Мы шли на Чимбулак, известную горнолыжную базу, вместе с Алексеем Марьяшевым, мастером спорта по альпинизму, чемпионом республики. Шел еще мальчик Коля, четырнадцатилетний сосед Марьяшева. Уж как он просил мать отпустить его в горы!

В дороге мальчик часто останавливался и дышал, широко раскрыв рот, словно галчонок. Я поднял его лыжи, совсем никчемные лыжи – тяжелые, широкие, с зазубринками и щетинками, стертые добела, и сказал Алексею, что не надо бы мальчику тащить в горы такие дрова.

– А ты знаешь, чьи это лыжи? – спросил Марьяшев. – Это лыжи Сарыма Кудерина.

Сарым, Сарым... Густая копна курчавых волос, в любое время года без шапки, любимая форма одежды – штормовка. Сарым, альпинист-разрядник, еще в университете сколотил группу студентов и таскал их на скалы. Они возвращались оттуда почерневшие, с блестящими глазами, странные, словно побывали в другом

мире. И когда Сарым учился, и когда работал в редакции местной пионерской газеты, горы забирали у него много времени.

*Александр Марьяшев и Виктор Менжулин на вершине Большого Алма-Атинского пика в августе 1950 года. Оба потом стали мастерами спорта по альпинизму. Сфотографировал их Саша Лухтанов*

А потом случилась беда. 14 июля 1963 года, когда сборная команда ДСО «Буревестник» поднималась на вершину Чатынтау, обрушился снежный карниз. Лавина понесла людей. Среди них был Сарым Кудерин.

Кудерин был альпинистом высокого класса, чемпионом страны. Он прошел Хан-Тенгри, пик Революции, Мраморную стену, пик Ленина – десятки вершин Памира, Тянь-Шаня и Кавказа. Он мечтал о Джомолунгме, о Гималаях. Подъем на Чатынтау был обычным тренировочным восхождением.

Они были друзьями с самого детства, Кудерин и Марьяшев. Впервые они пошли в горы «дикарями» – по тропе на Чимбулак с бельевой веревкой, Сарым – в маминых туфлях. Сначала хотелось добраться до елок, потом потрогать руками снег, потом... Ребята нашли высоко в скалах огромные рога архара и с трудом притащили домой. Прибили под крышей дома Марьяшева. Для взрослых – баловство, для ребят – символ свободного духа. Каждый раз собираясь в путь, они салютова-

ли архарьим рогам, произносили мудреные заклинания. Так было торжественнее.

Однажды в лоб ринулись на Талгарский пик. Да куда там! Поняли – надо тренироваться. Сарым по неоштукатуренной стенке залез на второй этаж школы. Вызвали к директору. Сарым удивил всех признанием, что боится высоты. Затем появился у них добрый наставник – инструктор альпинизма Вера Степанова.

Я видел у Марьяшева фотографию. Узкоплечие, с тонкими шеями подростки. У Алексея – чуть раскосые глаза. Сарым – выше всех ростом, белозубо улыбается. Рядом велосипеды. И еще один паренек. Светловолосый, смотрит настороженно. Саша Лухтанов. Сфотографировались ребята на реке Или. Около трехсот километров от дома. Пятнадцатилетний Сарым вел тогда дневник. Вот строчки из него: «Видел сурков, сеноставку, лису. Видел орлов. И еще раз узнал, как красивы наши горы. Туман ложится на скалы, и вдруг – бабочка! Чего другого ожидал, но только не этого. Здесь, на такой высоте, среди черных скал».

Даже тогда вершины не были для ребят самоцелью. Горы наполняли их жизнь иным видением, раздвигали представление о земле, о людях. Поначалу это был пьянящий, ни с чем не сравнимый восторг, новизна ощущений и красок. Будто с глаз упала завеса. Под ногами лежали пейзажи, необычные по своей яркости. Оранжевые сполохи заката оттенялись густой синевой снежников. Полотна Рериха и Кента, к которым, кстати, их тоже адресовали горы, уже не казались фантазией для человека, увидевшего землю из-за облаков.

Мало кто знал, что Сарым писал стихи. Об одинокой палатке в горах у края сверкающих ледников, о плачущем дождике на тонких ножках, о длинных переходах, в которых открываются не только вершины, но и души людей. Он пытался закрепить в слове всю сложность и счастье жизни. Книжка стихов, которая вышла после его гибели, подтверждает, что он искал в человеке добрую

простоту, ясный взгляд, мужество и верность. Горы сделали Сарыма поэтом.

Мне кажется, что Сарым и его друзья не воспринимали альпинизм в чистом виде, только как спорт. Совершая долгие походы, ни познавали родную землю.

Пристальное внимание к окружающему определило увлечение Марьяшева. Он стал собирать цветные камни. В глухом ущелье Джунгарского Алатау Алексей как-то набрел на удивительные обломки гранита. Они поразили его своим цветом и оттенками. С этого все и началось... На какое бы восхождение ни отправлялся Алексей, на какую бы тропу ни ступал, он всюду искал кварциты, горный хрусталь, малахит или просто камни, невзрачные, но чем-то привлекавшие его внимание: необыкновенной ли формой, вкраплениями или оттенком.

Не просто страсть коллекционера руководила им. Он много читал, рылся в архивах, старался познать законы образования и строения гор. Он зарисовал каменные изломы гребней и скал. Иногда ему казалось, что в открытой им пещере он обнаружил следы древних людей, и тогда Алексей старался затащить в горы кого-либо из знающих людей. Он пытался обобщить увиденное, выступал в местных газетах и журналах. Специалисты не всегда принимали его хлопоты всерьез, и он тогда сожалел, что ученые авторитеты не могут подняться с ним на горные кручи.

Однажды весной он заехал за мной на мотоцикле, и мы умчались в ущелье Карачингил, где, по слухам, над пенистой рекой видели интересный излом в гранитной скале. Ущелье было малохоженным, сплошь усыпанным огромными валунами, следами селевого потока. Скалы казались совсем черными, будто закопченными дымом костра.

Мы карабкались на кручи, сторонясь осыпей. Признаться, мне уже стало надоедать это предприятие. Солнце грело, и пот лил в три ручья. А Алексей, цепкий как кошка, легко брал уступ за уступом. И все-таки он нашел то, что искал.

Щель была узкой, невысокой, протиснуться в нее можно было только лежа на животе. Из черноты пахло удушливой сыростью. Но он все-таки полез. У нас была веревка метров десяти, не больше. Я держал ее для страховки. Она то натягивалась, то ослабевала. Потом совсем провисла: видно Алексей отвязал ее. Я подождал несколько минут, потом, просунув голову в черноту, стал кричать. В ответ ни звука, снизу пахло птичьим пометом, и где-то капала вода. Алексей появился примерно через полчаса, когда я уже начал волноваться. Перемазанный, с прилипшими ко лбу волосами. Глаза его горели.

– Ты знаешь, там, кажется, подземное озеро. Жаль, фонарик разбился. Упал.

Не берусь судить, какой вклад сделает Марьяшев в геологию или спелеологию. Но он обладает всеми качествами исследователя: волей, самостоятельностью в суждениях, настойчивостью в достижении цели и наблюдательностью. Качествами, воспитанными на горных траверсах.

А что с Сашей Лухтановым? Вышло так, что Лухтанов раньше ушел из альпинизма. Закончил в Алма-Ате горный институт и уехал на Зыряновский свинцово-цинковый комбинат. И работал там горным инженером.

Как-то друзья решили навестить его. Нет бы просто лететь самолетом: каких-то два часа от Алма-Аты. Но Сарым с Алексеем выбрали другую дорогу. Поездом до Бийска. Потом в сорокоградусный мороз перебрались через Теректинский хребет и перевал Холзун и по льду реки Хамир как снег на голову свалились к своему другу.

Что дало Саше то незабываемое время, когда они были мальчишками и ходили с бельевой веревкой, плутали, висели над пропастью, радовались первой вершине?

У меня много фотографий, сделанных Лухтановым. Норка на белом снегу, совушка-сплюшка – за нее Саша получил премию на республиканской фотовыставке; лиса, удивленно смотрящая в объектив, бабочки-мод-

ницы на белых цветках...

У Лухтанова – редкий талант. Он известный в республике фотограф-натуралист. Местные писатели и ученые ведут с Лухтановым переписку. Еще бы! В Сашиной фототеке можно найти снимки лесной жизни во все времена года. Он вместе со своим сыном издал в Германии очень интересную книгу о бабочках горного Алтая, с красочными и редкими иллюстрациями.

Охотник знает, как трудно выследить в тайге зверя. А еще труднее подойти к нему на «выстрел» фотоаппарата. Надо ладить с природой, любить ее. Лухтанов – городской житель, а ориентируется в лесу не хуже иного следопыта. Останется один в зимней тайге – не пропадет.

Все трое никогда не были одиночками, способными ради выполнения спортивных норм и чемпионского титула пренебречь товарищами. И Кудерин и Марьяшев могли бы гораздо раньше стать мастерами спорта. Но они водили новичков по совершенно неперспективным для себя маршрутам. И Сарым и Алексей находили удовлетворение в том, что они могли показать красоту близких им гор людям даже слабым, которым нелегко давались переходы. На долгое время новички получали сильный эмоциональный заряд, чувство победы над собой, желание еще раз испробовать свои силы, противостоять неершительности.

Сарым тогда был тренером альпинистской секции в Казахском университете. Сейчас многие его воспитанники – мастера спорта. Ни на один день не прерывал своего тренерства Алексей Марьяшев, каким-то чудом выкраивая время от преподавательской работы. Он учит ребят умению твердо стоять на земле, учит взаимовыручке, коллективизму.

Сколько раз Сарыму и Алексею приходилось спасать товарищей, выручать друг друга! На Центральном Тянь-Шане при штурме пика имени Горького их девять дней трепала пурга. Начали рушиться карнизы. Алексей сорвался... Качнулось в сторону небо. «Все», - подумал он. Но Сарым успел прыгнул в пропасть на другую сто-

рону гребня и своим телом уравновесить падение Алексея. Они были в одной связке. Потом Сарым шутил: «Что бы я сказал твоей бабушке?» Во времена их молодости неделя не проходила, чтобы у домика на Кастекской улице, где под крышей прибиты архарьи рога, не собирались парни и девушки с вещевыми мешками. У Алексея Марьяшева была неофициальная штаб-квартира всех походов. И рога Архара стали символом, зовущим к вершинам.

Жизнь Сарыма и Алексея – это многочисленные друзья. Их сейчас десятки, сотни, все разных возрастов и профессий. От дома Марьяшева отправлялись альпинисты в Алатау, на штурм безымянного пика высотой 4200 метров. Здесь были машиностроители, химики, горняки, преподаватели, журналисты. Они назвали покоренный пик именем Сарыма Кудерина.

В горах Сванетии, в живописной долине реки Ингури, уснул Сарым. Он любил все горы земли. На могиле Сарыма на стальной табличке выбит эдельвейс. А рядом его стихи:

*... Промчатся дни,*
*Сжигая зноем губы.*
*И ночи*
*Голубого хрусталя...*
*Холодное сверканье ледоруба –*
*Идет по кручам*
*Молодость моя.*

Кудерин был журналистом. Марьяшев – преподавателем литературы в школе. Лухтанов – горняк. Разные профессии, разные характеры, закваска одна. А все началось с простой тропы на Чимбулак.

...На следующий день на Чимбулаке Марьяшев повел свою группу на вершину Талгара. А мы с Колей спускались обратно. Надо было видеть, каким серьезным и даже торжественным было лицо мальчишки. Лыжи Сарыма не казались ему тяжелыми. Было время весенних каникул. Навстречу шли туристы с большими рюк-

заками, мальчишки и девчонки. В руках у них были цветы. Там, внизу, буйствовала весна, а на Чимбулаке лежал снег.

* * *

Прошли годы. Друзья Сарыма не изменили общему делу. Алексей Марьяшев стал доктором исторических наук, но все также водит в горы группы единомышленников. Он всегда загорел, подтянут, и в глазах его светится вечная страсть движения.

Прошлым летом со своими друзьями – единомышленниками он добрался до Гималаев, где в свои 70 лет сделал восхождение на шеститысячник.

Вместе с Александром Лухтановым они написали «Легенду о черном альпинисте», где вспомнили Сарыма, совместную дружбу и скитания по горам.

Александр Лухтанов уже вышел на пенсию. У него была возможность переехать в Алматы, где его корни, где у него полно родственников. Но Саша остался в Зыряновске, к которому прикипел всем сердцем: к окрестным горам, к Бухтарме, к Белой речке. Но он часто наведывается в южную столицу. Привозит интересные материалы и снимки. И мы с удовольствием печатали его в газете "Экологический курьер" где считали А. Лухтанова своим собственным корреспондентом по Рудному Алтаю. Маленькие гонорары его не обескураживают. Он человек не пробивной. Он остался таким же немногословным застенчивым Сашей, душа которого в большей мере открывается в его писаниях.

А работает он тоже много. Вместе с сыном Владимиром, доктором биологических наук, преподавателем Санкт-Перербургского университета, они собрали уникальную монографию о бабочках северо-западной Азии. Их труд получил мировое признание. Сегодня сын Лухтанова активно сотрудничает с Гарвардским университетом в области генной инженерии.

Такие вот они, люди.

# ТОРОПЛЮСЬ НА СВИДАНИЕ

# СИНЮШОНОК

## *У Бабиной шишки*

Иван с Максимычем давно собирались за живым соболем. Зверь уже разгулялся, а приемщики скоро обещали быть в Синюшонке. И вот, наконец, выдались у лесников свободные дни.

Они ушли очень далеко. От лесовозной дороги свернули на засыпанную снегами Елисееву сопку, перевалили через нее и долго катили по застывшей речке Паршихе до заросшего березняком Решетового поселья. А там снова поднялись в гору и, продираясь сквозь частый лес, спустились к крутой лобастой горе Бабиной шишке, где в распадке, на самой границе двух лесхозов, притаилась под снегом маленькая черная избушка.

Пятый день торчат уже звероловы в лесу, окуриваются дымом в тесной избенке, бродят по темным зарослям, а удача все не идет.

Загрустил Иван. Как ни любит он лес, но скучно без людей. Нет-нет, да и поднимается он перед сумерками на Бабину шишку, посмотрит в сторону поселка. Но увидит сквозь туман только гору Синюшонок, поросшую густым пихтачом. Будто лохматый зверь в иссиня-черной шкуре, припала она головой своей к синим вершинам.

Белка и Малыш, крупные сильные лайки, тоже смотрят на синюю гору и тихонько повизгивают. Они заглядывают Ивану в глаза, будто спрашивают: "Почему так скучно, хозяин? Куда делись пушистые черные звери?"

Иван не торопится в избушку. Он знает, что Максимыч пьет сейчас десятую кружку смородинового чая, вытирает рукавом рубахи красное лицо и ждет, когда он, Иван, вернется.

Подсмеивается Максимыч над своим напарником, за то что ходит тот смотреть на Синюшонок.

Ему-то что! Двадцать лет Максимыч бродит по тайге. А

Иван лесник молодой. И жена, и дети его еще не привыкли, что отца долго нет дома, когда он объезжает лес.

Скатился Иван к избушке, лыжи воткнул в сугроб, ружье на пихту повесил, протиснулся в крохотную дверь.

– Ну что, видел, как жена пироги печет? – Максимыч сидит на нарах и мнет в ручищах беличью шкурку.

– Двоих снял, пока ты на шишку лазил, – сказал довольно.

Старикан зря время не тратит. С десяток белок в мешке у Максимыча припрятано, да штук пятнадцать рябчиков заморожено в снегу. Иван знает: достанется Максимычу, если вернется с пустыми руками. Жена у него больно ворчлива, обзывает мужа бездельником и говорит, что зря шастать по лесу нечего. Максимыч с радостью уходит в тайгу и с блаженством отлеживается в теплой дымной избушке, подальше от домашних хлопот.

Но в работе, особенно если сулит она хороший заработок, Максимыч – человек семижильный. Если добыча в руки идет, любая работа ему нипочем.

Прилег Иван на нары, вытянувшись через всю избенку. Крепок он и строен, глаза голубые с прищуром смотрят строго. Плечи широкие, как из камня высеченные.

Максимыч может рассказывать, как на удивленье всего Синюшонка поднял Иван прошлой весной на спине молодого бычка и стоял не шелохнувшись...

Нет, не зря он взял в напарники Ивана. Не беда, что разные они. Потрепи его тайга день – другой, не будет, поди, глаза таращить и удивляться всякой дребедени.

## *По следу*

За ночь легла свежая пороша, прикрыла старые следы. Лес стоял тихий и не хотел просыпаться. На редких кустарниках белыми куропатками повисли кусочки снега. Ручей у подножья Бабиной шишки обложило гладкими покатыми сугробами.

Максимыч взял ведерко, пошел за водой и сразу же провалился по пояс. Он размахивал руками, как большая и беспомощная птица. Иван подбежал к товарищу и одной рукой выдернул его из сугроба. Ивану весело. Снег на солнце пере-

ливается самоцветами, и легко дышится... Толстые пихтовые поленья с хрустом разлетаются под топором, прядь рыжих волос закрыла глаза, и все кажется вокруг золотым. Глянул мельком на Максимыча и Максимыч золотой, что-то кричит у ручья и опять машет руками. Иван бросил топор. Максимыч, забыв про воду, склонился над свежим звериным следом. Тонким хитрым узором покрылся склон Бабиной шишки.

– Это соболь. Часа два как прошел. Самец, видно. Глянька, след какой длинный.

Максимыч волновался. Толстые губы его подергивались. Шестой день и только первый свежий след! А он обещал после этой охоты купить старшей дочери новые туфли, справить жене пальто, а сынишке привезти из города деревянного коня.

Иван хотел сразу навострить лыжи, но Максимыч остановил:

– Не торопись. Чаю попьем. Может, дальняя будет дорога.

Как ни напускал на себя Максимыч спокойствие, но через четверть часа с котомками за плечами на широких таежных лыжах они уже поднимались в гору по соболиному следу. Собаки сразу же ринулись в чащу, барахтаясь в глубоких сугробах.

Иван шел шибко и часто. Максимыч катил по свежей лыжне широко, размашисто, чуть прихрамывая на левую ногу, в которой с самой войны засело два крошечных осколка.

Белка и Малыш совсем одурели. Торопятся, тычутся в близкие звериные следы и нетерпеливо повизгивают.

Что за страсть эта гонка по свежему следу! Кто не пережил ее, сразу не испытает себя. Не всякий решится смело ринуться по звериным следам. Ведут они в чащу, на крутизну, прячутся под валежниками, бросаются на острые камни. Но азарт гонки толкает в спину охотника и мчится он, сломя голову, меж частых стволов-истуканов.

... Соболь неожиданно круто метнулся в гору, будто учуял погоню. Он верхами летел по насту, а людям трудно: чуть пригрело солнце и оттаявший снег подлипает к лыжам. Даже лайки скоро потеряли свою отчаянность и, сберегая силы, поплелись сзади, почти не напоминая о себе.

Звероловы выскочили на полянку, тесно окруженную осинами. На открытом месте лежала большая валежина, заваленная высоким сугробом. Длинные острые пихты мрачными стражами берегли покой. Казалось, нет здесь жизни. Даже лесных пичуг не слышно. Но под снегом и валежиной тысячи ходов – переходов, звериных хаток и норок. Хорошо знал об этом Максимыч. Не зря следы соболя вели сюда. Не зря зверь хитрил да путал.

Максимыч с Иваном, скинув лыжи, принялись раскапывать снег. Собаки, толкая друг друга, нырнули под валежину: только хвосты торчат. Они фыркали и визжали, и вдруг стихли.

Обошел Иван вокруг валежину и понял все: под снегом ходами-переходами прошел соболь и умчался вниз по распадку: вон его следы петляют по склону. Кинулись в погоню. Глаз не спускают со звериной строчки. Привела она к густой черной пихте.

– Здесь, он. Гляди, на ветках кухта сбита. – Перевел дух Максимыч. – Байдон рубить придется.

Срубил Иван осину, очистил от веток и получился “байдон” – огромная дубина. Приловчился Иван с со всего плеча ухнул по темному стволу. Задрожала пихта сверху-донизу. Слетела с маушки тяжелая белая шапка, взорвалась, чуть не сбив с ног охотников. Осталась в сугробе глубокая снежная воронка, обнажилась земля. Да где-то долго потом вздыхало тяжко и ухало. Снова загудела пихта под ивановым ударом. Неожиданно встрепенулись растрепанные ветви, и на самой макушке что-то мелькнуло.

Задрожали собаки: “Держи, держи, вот он!”

Максимыч по привычке за ружье схватился, да вспомнил: зверь живым нужен. Крикнул Ивану:

– Бросай байдон, чего ждешь!

А сам срывает с себя сумку, ставит в снег ружье, выхватывает из-за пояса широкий острый нож.

Подсек Максимыч молодую рябину, стал торопливо обламывать морозные хрупкие ветви, не спуская глаз с темной точки на макушке пихты.

Притаился соболек, зло зыркает глазенками. Надоели ему горластые звери, что на весь лес шум подняли, и эти незна-

комцы, которых он боится еще больше.

Максимыч торопится вырезать удилище, но не может унять нервную дрожь. Зверь-то вот он, рядом. Сто двадцать рублей дают за живого соболя. Пару таких зверушек и месяц живи припеваючи.

Готово! Крепко затянул Максимыч на конце стальную петлю непослушными руками, протянул силку Ивану и шепчет срывающимся голосом: "Давай, Иван, на пихту, уйдет зверь", – а сам, как загипнотизированный, смотрит на соболька.

Скинул Иван лыжи, кошкой гибко скользнул под колючую крону. Не пускают его ветки, снег засыпает глаза, лезет за шиворот, холодит спину. Петля в кроне цепляется. Забрался все-таки Иван высоко, аж макушка гнуться стала, и увидел вдруг совсем рядом темные соболиные глаза. Вот ты какой красавец, оказывается! Отродясь Иван не встречал такого зверя. Темный лохматый соболек висел и злился у него над головой. Самую густую и ворсистую шкурку охотники зовут "лохматой". Принимается она по дорогой цене и добыть ее – большая честь.

Максимыч тоже оценил соболька и напряженно застыл под пихтой, раскрыв рот.

Тихо дзенькнула стальная петля, блеснула, будто искорку выселка. Метнулся соболь, вывернулся, хватил зубами петлю и задернул. Сел на макушке на последнюю ветку и раскачивается, как маятник. Ему стало страшно. А этот большой все лезет и ничего не боится. Раскрыл он рот и сверкнули на солнце зубы. Страшные зубы, никогда не видел соболек таких зубов. Попадись только, этот великан сразу оторвет голову и съест. Глянул соболенок вниз. Ненавистные собаки с ума сходят и стоит другой великан, не менее страшный.

Опять хлестнула петля по блестящей шкурке, вздрогнул зверек, сжался пружиной и молнией сверкнул в воздухе.

Далеко, как на крыльях, полетел он, зацепился на соседнем дереве, перепрыгнул на другое, кубарем свалился в кусты и стал уходить.

Белка с Малышом и тявкнуть не успели. Максимыч остался стоять с открытом ртом:

– Не зверь, а черт настоящий, метров на десять сиганул.

Сваливается с пихты Иван; задыхается:

– Видал, какой он? Черный... вороной... а ворсинки синим отливают. Первый раз вижу такого. Что твой Синюшонок!

Максимыч пришел в себя:

– Синюшонок, Синюшонок! Растяпа ты... Из-под носа упустил зверя. Чего ты его петлей ласкал? Хлестнул бы посильней. Ищи-свищи теперь твоего Синюшонка.

Не на шутку расстроился Максимыч.

Посмотря Иван на товарища и жалко ему стало его: "Ладно, – думает Иван, – хоть на край света придется идти, на разыщем Синюшонка". И снова помчались они.

Незаметно опять овладел ими азарт гонки и перестал ворчать Максимыч и все для них погасло и замерло кроме чуть подтаявшего теплого следа. Одежды вымокла на лопатках, кипяток разливается в груди и захлебываются они кусками рваного воздуха. Но поди ж ты, останови сейчас охотников. Разве только на минутку прочесть строчку, где расписался соболь.

Хитрый зверь повел на подъем, решил измотать людей окончательно. Но разве бросишь его теперь! Охотники уже себе не подвластны. Соболь командует ими, испытывает их волю.

Вьется, петляет след. Собаки заметно притомились. На каждой остановке крутятся они в снегу, будто хотят поймать собственный хвост, топчут место для лежки.

Давно время обеда, а Иван с Максимычем про еду забыли. Пожевали на ходу сочную гроздь мерзлый калины, чтоб во рту не сохло.

Путается след в чаще. Куда забрали они, где плутают – до этого ли? Лес не хочет привыкать к людям. Пронзительным криком проважает их ронжа, у самого лица куртятся маленькие синички и трещат: "Вчемдело, вчемдело?"

С трудом передвигая ноги, вышли на гребень, на самый солнечный упек и зажмурились. Место открытое, редкие осинки да березки торчат. Со всех сторон горы обступили. Далеко в сизой дымке прячутся алтайские белки – вершины, покрытые вечным снегом. Лес сбегает от них ступеньками. Верхушки деревьев на гребешках сопок отливают золотой чеканкой. В тени снега кажутся голубыми, а на солнечных полянах они весело мерцают теплыми звездами. Засмотрелся Иван. В этих местах он еще не был.

– Погоди, погоди, Максимыч. Посмотри, чудеса-то какие.

– Яркая поляна, – согласился Максимыч. – Весной здесь косачами богато. Распоются, расстонуться – ну базар настоящий! Подходи и бей.

Оттаяли охотники, пригрелись. Смотрит Иван на сверкающую светлынь, все сливается перед его глазами и кажется – у ног не крутизна, а ровное белое поле, усыпанное самоцветами.

Максимыча дорога притомила. Чаще он стал останавливаться и потирать раненую ногу. А тут пригрелся и с места не хочет двигаться. Но лохматый соболь не дает покоя.

Иван будто-то и не устал, не торопиться, ко всему присматривается. Вот следы норки. Шел-шел зверек вниз, да надоело, видно. Лег плашмя и так скатился. До самого подножья протянулась по склону длинная ровная полоса, будто кто провел по снегу палкой.

Присел Иван и помчался вниз, напрямик по норочьему следу. Дух захватило. Опять ему весело.

Какие бы крутые горы ни были, они не страшны Ивану. Лихо притормозил он, так что снег завихрился белым веером. Повернулся, глядь – нет Максимыча. Подождал, покричал. Стоголосое эхо ему ответило. Снег с пихты посыпался. Встревожился Иван, кликнул собак, развернул лыжи и полез назад.

С тоской глядели лайки на соболиный след.

## *Заговоренный*

С Максимычем случилась беда. Покатил он по норочьему следу, да с полдороги раздумал: стар он для такой крутизны. Начал притормаживать, свернул в сторону и со всего разлета угодил на камень. Ударило Максимыча о толстую осину и отбросило в сугроб. Сознание потерял.

Иван нашел его, привел в чувство. Спустились они в сумерках. У костра Максимыч отошел. Обошлось, вроде, только кожу на лбу поцарапало. Иван оторвал лоскут от рубахи и перевязал товарища.

– Ну, чем не партизан! – Максимычу неловко, что он, опытный охотник, расквасил лоб. – Слышь, Ваня, видно, стар я

уже, а? Видно, на печку пора, на пенсию... Пусть молодые за зверем ходят.

– Пустое, Максимыч. Ты полвека прожил, а сколько ходил-переходил, сколько всего повидал... Я тебе за науку благодарен. Из за то, что в лес всегда берешь с собой... Вот вернемя в избу, отлежишься и по-другому заговоришь.

Приятны эти слова Максимычу, но он виду не подал. Отвернулся, подкинул сучьев в костер. Огонь вспыхнул веселее, осветил заросшее лицо и поседевшие волосы, торчавшие из-под старенькой ушанки:

– Об избе забудь, Ваня. Нельзя упускать своего первого соболя. Взять мы его должны. Поймаем – себе возьмешь. Детям покажешь. Небось, живого-то не видели.

Сейчас не думал Максимыч ни о туфлях, ни о пальто, ни о деньгах, некоторых у него никогда не было. Что-то другое, большое и сильное повязало его с упрямым Синюшонком. Может, гордость охотничья не позволяла упустить добычу?

Задремал Иван, а Максимыч тихонько встал и направился к россыпи. Собаки дернулись за ним. Но потом лениво сложили головы на лапы: притомились. Долго не возвращался Максимыч: опутывал сетью вход в каменную россыпь.

Иван в это время разговаривал с Синюшонком: "Силу нашу испытываешь? А хватит ли у самого силенок?"

"Хватит, мил человек!" – Вдруг из темноты к костру шагнул белый-белый дед. Чудо: идет без лыж и не проваливается. Остановился в двух шагах и говорит: "Как увидишь утром Синюшонка, бей его прямо в глаз. Не попадешь – не видать тебе соболька. Заговоренный он".

"Мне, деда, живым его надо", – отвечает Иван.

"С живого, что ли, шкуру снимать хочешь?"

"Зачем шкуру? Посадят его в клетку и отвезут в далекие леса, чтобы там зверь рос и плодился..."

Захохотал, захихикал дед, дунул на костер так, что искры посыпались. "Не забудь – в глаз бей", – заскрипел он и пропал.

Очнулся Иван. "Фу ты, ерунда, и надо такому причудиться". Встал, подрубил щепы, потрепал по голове вертевшуюся у костра Белку.

Вернулся Максимыч. Повернули они спины к огню, и рассказал Иван товарищу короткий сон.

– Заговоренный? Ничего, мы и на заговоренного сеть поставили. А вот когда я был мальчонкой, таких дедов не во сне, а в жизни встречал. Кержаки собирались на охоту с молитвами, заговорами да иконами. Без молитвы из избушки не выйдут. А людей новых, как огня, сторонились: боялись дурного глаза. Такие вот деды совсем соболя выбили в наших краях. Тайга будто вымерла. И ни молитвы, ни заговоры не помогали. Запустили тогда в тайгу баргузинского соболя. Перемешался он с алтайским и расплодился. Кур стал таскать на заимках.

– Синюшонок, видно, тоже от баргузина?

– Может, и от него...

Вскипятили охотники чай, накормили собак сухарями и направились к каменной россыпи. Снег здесь лежал глубокий и плотный. Крепкий наст ранил руки. Иван ломал его упрямо и думал, как поймают они Синюшонка, как разгуляется он в незнакомых горах и, наверное, выведет свое потомство. В далеких лесах соболями тоже станет богато. А люди снова отловят их, увезут на новые места, где отродясь не было такого зверя. И снова разрывал Иван стеклянный снег.

Нет, Синюшонок, не уйти тебе, какой бы ты заговоренный не был.

## *В родных краях*

Соболенок в это время был далеко. Он ушел ночью по каменной гриве, осторожно пробираясь под снегом. Он видел отсвет пламени костра, который плясал на деревьях, и торопился уйти дальше.

Синюшонок хорошо знал эти места. Три года назад начал он знакомиться с жизнью на серых россыпях и в густых распадках. Позже морозная зима и обилие снега заставили его спуститься в черный пихтач, где много всякой дичи. Здесь летом впервые он повстречал соболюшку и дрался со старым черным соболем. Синюшонку трудно досталась победа, но он поверил в свои силы и почувствовал себя хозяином в большом лесу.

Он никого не боялся и стал нападать на зверя крупнее себя. Однажды Синюшонок загнал в скалах маленькую косулю и

понял, что не обязательно быть большим – надо быть злым и смелым.

Как-то он встретил в своих владениях следы незнакомой соболюшки, полдня бежал за ней без отдыха и чуть было не попал в беду. Вовремя почувствовав опасность, он вскочил на дерево и увидел страшную картину. На голой макушке пихты сидела соболюшка, выгнув крутую спину. А у дерева стояли две тени и надрывались лохматые белые звери. Потом грянул гром, и лес долго гудел и вздрагивал. Видел Синюшонок, как дергалась в снегу, обливаясь кровью, свалившаяся соболюшка. Как подняли ее с земли, ударили головой об пень, вертели во все стороны и смеялись. Потом лохматые звери учуяли его и бросились к пихте. Сломя голову помчался по вершинам деревьев Синюшонок. Бежал он до сумерек к родым россыпям, там забился в высокий крепкий пень и трое суток не подавал признаков жизни. Он понял, что даже на глаза опасно попадаться незнакомцам с их лохматыми белыми зверями.

И сейчас, столкнувшись с ними, он напрягал силы и стремительно, не останавливаясь, уходил в родные места. Одно не мог понять Синюшонок: чего хотят незнакомцы? Сколько раз они видели его совсем близко, и давно могли бы оглушить громом, как ту маленькую соболюшку.

Перевалив через гребень высокой сопки, Синюшонок нашел в засыпанном снегом распадке укромное теплое дупло и отлично выспался в старых гнилушках. Отдохнув от волнений и погони, он еще немного бежал утром, а потом пошел мягко, крадучись и нюхая воздух.

За время погони он съел двух мышек и немного рябины и сейчас в животе его было легко и пусто. Злая решимость овладела им. Появись сейчас куропатка, заяц или даже зверь покрупнее, Синюшонок, не задумываясь, начал бы драку.

В кустах у ручья он расправился с маленькой синичкой, но только раздразнил себя. По ручью вышел из распадка на широкую поляну, где тесно выстроились старые осины и березы. И здесь, прижимаясь к снегу, он пополз, как кошка. На кустах, на деревьях совсем близко сидели рябчики. Они беззаботно клевали оттаявшие почки, грелись на солнце. Никакая опасность не могла угрожать лесным курочкам в тихое зимнее утро.

Синюшонок прыгнул на крайнюю птицу и подмял ее. Нижние рябчики вспорхнули и подались выше, где нежились птицы, ослепленные солнцем.

"В путь-в путь, подь-подь", – раздались тревожные булькающие звуки и все птичье семейство как ветром сдуло. И ясно услышал Синюшонок снова близкий злой лай.

Соболек рванулся в гору, но пойманный рябчик бил крыльями, мешал пробираться через кусты и ползти под снегом. Соболек обернулся и увидел мечущиеся тени и кувыркающихся белых зверей. Синюшонок куснул еще раз птицу, бросил ее и побежал, не оглядываясь. Гонка утомила его. Но он знал, что надо долго бежать, запутать следы, перехитрить погоню. Голод терзал Синюшонка, и прыжки его теряли прежнюю силу.

Он выскочил на лысую верхушку сопки. Ярко белели склоны, а родные синие хребты лежали, как ни в чем не бывало. Если бы мог он сейчас единым прыжком уйти туда, высоко, в скалы, в запутанные россыпи...

Он бежал быстро, пока погони не стало слышно. Синюшонок торопился в чащу, что темнела у лысой вершины. Это была мрачная северная сторона, куда даже в полдень не заглядывало солнце. За чащей круто поднимались хмурые скалы. Деревья стояли плотно, склонив друг другу на плечи вершины в тяжелых снежных шапках.

Синюшонок не оставлял следов в черном лесу. С крайнего дерева он ловко перепрыгнул на другое, потом поднялся выше и пролетел по воздуху на третье... Он уходил все дальше верхами, стараясь не сбивать снег и не поднимать шума. У самых скал, в буреломе он нашел неприметную высохшую лесину и юркнул в дупло.

## *Лесная флейта*

Скатились охотники в черный лес и пошли осторожно, ощупью, читая по слогам соболиные хитрости. Как мягко ни прыгал Синюшонок, но кухта, сбитая лапой или пушистым хвостом, свежие щербины на чистой снежной скатерти многое говорили Ивану и Максимычу.

Белку с Малышом не проведешь. От дерева к дереву, по-

визгивая и выбиваясь из сил, тянутся они к старой лесине. И вот нашли ее, облаяли, царапают ствол, рвутся вверх.

Разгоряченный Иван кое-как забрался на соседнюю пихту, потянулся к стволу, глянул в черную дыру дупла и увидел две блестящие бусинки. Не поверил: не от гонки ли глаза слезятся. Протер их и снова заглянул в дупло. Нет, играют бусинки, переливаются.

"Максимыч, Максимыч, здесь он!" – обрадованно закричал Иван сверху, и дрожащими руками заткнул щел рукавицей-мохнаткой. А сам сидит на дереве, боится, что уйдет Синюшонок. Максимыч вытащил из мешка топор и стал рубить из куска дерева большую круглую пробку. В самый раз она к дуплу пришлась.

Потом вместе налегли на старое дерево. Весело застучал топор. Под самый корень рубят охотники лесину.

Наконец, хрястнула она об землю и развалилась надвое. Замер Иван, вспомнил ночного старика: "Заговоренный он". Но Максимыч, откуда только прыть взялась, распутал сеть и бросился на лесину, как вратарь на футбольный мяч. Опутали охотники место, а собаки бросаются на бревно со злостью, готовы растащить его по кусочкам.

Рубит Максимыч в лесине оконце. Ставит перегородку из щепы, стучит, гонит зверька к отверстию.

Пляшет п поет в руках Максимыча топор, пот с него в три ручья, но работает он с остервенением, весело, будто за тем и шел из дома, чтобы у черта на куличках, у снежных белков помахать топором.

Скоро лежала у ног охотников большая лесная флейта, вся в дырочках- следах. Но зверек затаился, не показывается. Глянул Максимыч в черное дупло – и замурлыкала, запела флейта. Так вот он, чертенок, рядом совсем! Протянул Максимыч руку в толстой рукавице, хвать соболька за шею – и вытащил. Забился Синюшонок, змеей обвился вокруг руки, как ножом, полоснул острыми зубами. Не успел максимыч перехватить другой рукой, как острая боль обожгла его пальца.

Иван держал наготове стальную сетку-решетку. Затолкали они туда соболька, крепко закрутили крышку проволокой. С остервенением грыз зверек зубами стальную сетку.

Так вот ты какой, Синюшонок! Семь дней за тобой хожено, семь потов пролито, семь сопок позади оставлено.

Прикрыл Иван глаза на минуту, и навалилась на него непонятная тяжесть. Все закружилось: и белки, и скалы, следы норки, следы Синюшонка. Сейчас пойдут они назад по синюшонковой строчке и не будет она уже манить его, не будет ничего обещать. И от этого Ивану немножко грустно.

А Максимыч сидит на лесине и разговаривает с Синюшонком.

– Ну, что щуришься, что? – спрашивает  и его заросшее усталое лицо расплывается в счастливой улыбке.

Дохнул ветерок в ущелье. Пробудил верхушки деревьев. Пробежал по матовому насту и что-то задрожало, застонало в разбитой лесине. Это тайга провожала Синюшонка, и лесная флейта пела ему прощальную песню.

## *Белкин сюрприз*

Возвращались быстро. Хотелось до сумерок добраться к черной избушке, отдохнуть и отогреться. Через плечо у Ивана – решетка, где сжался в комок присмиревший Синюшонок. В великой тоске косит он на синие хребты и грызет стальную сетку. Никогда не видать ему родных гор, не наводить страха на птиц и зверей, не скакать по верхушкам пихт. Синюшонок хорошо помнил судьбу соболюшки. Где о какой пень разобьют ему голову незнакомцы? Почему они медлят, почему лохматые белые звери бегут совсем рядом и не кричат больше?

Острыми зубами грызет Синюшонок холодную сталь. Иван накрывает ношу широкой рукавицей.

У березняка собаки вспугнули на кустах одинокого рябчика. Максимыч без труда поймал его и определил, что его драл соболь. Хотел он сразу же пустить курочку в расход, да Иван не дал.

– Принесу своим пацанам рябка живого.

Посадил он курочку в заплечный мешок, так чтоб клюв ее торчал в небо. Через полчаса она отогрелась, и за плечами Максимыча послышалось: “путь-путь, подь-подь”...

Дернулся в сетке Синюшонок: узнал своего рябчика. За-

волновались Белка и Малыш. А рябчик с отчаянным упорством все посылал лесу тревожные сигналы. И, услышав их, другие рябчики срывались и улетали в черную тайгу.

Только к вечеру спустились охотники с Бабиной шишки к своей избе.

И печь уже растопили, отужинали, ко сну стали собираться. Максимыч вышел дров про запас принести. Иван лежал, блаженно вытянувшись, и слушал, как ухает за стеной филин. Тяжелая была гонка. Даже собаки притомились, не подают голоса.

Под нарами в стальной сетке затаился соболек, не приняв мяса из ивановых рук. Подумал Иван, как принесут они Синюшонка домой, как кинутся к нему дети, как будут разглядывать и удивляться. Далекий путь предстоит Синюшонку: сначала вертолетом в Усть-Каменогорск, потом на самолете в Алма-Ату, а потом пойманных соболей повезут на машинах в горы к лесным перевалам.

– Гляди, оказия какая, Белка ощенилась! – В клубах морозного пара протиснулся в избу Максимыч и протянул Ивану живой комочек. – Не ко времени, забегали шибко.

“Пить-пить, подь-подь”, – закричал под нарами рябчик.

– Цыц, – сказал Максимыч. Он сел с краю нар, помолчал, покряхтел и заговорил, будто сам с собой.

– Ну, спасем мы щенят... Тогда что? В самый сезон Белку тянуть начнут. А в поселке и так у каждого белкины лайки. Может, одного оставить? Иван, слышь, может одного?

Но Иван не слышал. Видится ему сон, будто в красивых незнакомых горах он выпускает Синюшонка.

Не слышал Иван, как вставал и выходил Максимыч, как под утро, повизгивая, скребла Белка дверь избушки.

...Занимался восьмой рассвет с тех пор, как вышли они из дома. Оттаявшие на солнцепеке ветви, замороженные ночью, засветились хрустальными люстрами. Солнечные зайцы осветили распадок. Рябчик закричал “в путь-подь, в путь-подь!”

– Кто подь, а кто не подь, – передразнил Максимыч, вытряхивая птицу из мешка. – Вот сейчас пристроим мы вместо тебя этого зверя... У-у-у, курносенький, уснул. Но охоте родился... Счастливый, – ласково ворчал он над крошечным щенком и дышал на него. Посадил в рукавицу, завернул в тряп-

– Погоди, погоди, Максимыч. Посмотри, чудеса-то какие.

– Яркая поляна, – согласился Максимыч. – Весной здесь косачами богато. Распоются, расстонуться – ну базар настоящий! Подходи и бей.

Оттаяли охотники, пригрелись. Смотрит Иван на сверкающую светлынь, все сливается перед его глазами и кажется – у ног не крутизна, а ровное белое поле, усыпанное самоцветами.

Максимыча дорога притомила. Чаще он стал останавливаться и потирать раненую ногу. А тут пригрелся и с места не хочет двигаться. Но лохматый соболь не дает покоя.

Иван будто-то и не устал, не торопиться, ко всему присматривается. Вот следы норки. Шел-шел зверек вниз, да надоело, видно. Лег плашмя и так скатился. До самого подножья протянулась по склону длинная ровная полоса, будто кто провел по снегу палкой.

Присел Иван и помчался вниз, напрямик по норочьему следу. Дух захватило. Опять ему весело.

Какие бы крутые горы ни были, они не страшны Ивану. Лихо притормозил он, так что снег завихрился белым веером. Повернулся, глядь – нет Максимыча. Подождал, покричал. Стоголосое эхо ему ответило. Снег с пихты посыпался. Встревожился Иван, кликнул собак, развернул лыжи и полез назад.

С тоской глядели лайки на соболиный след.

## *Заговоренный*

С Максимычем случилась беда. Покатил он по норочьему следу, да с полдороги раздумал: стар он для такой крутизны. Начал притормаживать, свернул в сторону и со всего разлета угодил на камень. Ударило Максимыча о толстую осину и отбросило в сугроб. Сознание потерял.

Иван нашел его, привел в чувство. Спустились они в сумерках. У костра Максимыч отошел. Обошлось, вроде, только кожу на лбу поцарапало. Иван оторвал лоскут от рубахи и перевязал товарища.

– Ну, чем не партизан! – Максимычу неловко, что он, опытный охотник, раскваснл лоб. – Слышь, Ваня, видно, стар я

уже, а? Видно, на печку пора, на пенсию... Пусть молодые за зверем ходят.

– Пустое, Максимыч. Ты полвека прожил, а сколько ходил-переходил, сколько всего повидал... Я тебе за науку благодарен. Из за то, что в лес всегда берешь с собой... Вот вернемя в избу, отлежишься и по-другому заговоришь.

Приятны эти слова Максимычу, но он виду не подал. Отвернулся, подкинул сучьев в костер. Огонь вспыхнул веселее, осветил заросшее лицо и поседевшие волосы, торчавшие из-под старенькой ушанки:

– Об избе забудь, Ваня. Нельзя упускать своего первого соболя. Взять мы его должны. Поймаем – себе возьмешь. Детям покажешь. Небось, живого-то не видели.

Сейчас не думал Максимыч ни о туфлях, ни о пальто, ни о деньгах, некоторых у него никогда не было. Что-то другое, большое и сильное повязало его с упрямым Синюшонком. Может, гордость охотничья не позволяла упустить добычу?

Задремал Иван, а Максимыч тихонько встал и направился к россыпи. Собаки дернулись за ним. Но потом лениво сложили головы на лапы: притомились. Долго не возвращался Максимыч: опутывал сетью вход в каменную россыпь.

Иван в это время разговаривал с Синюшонком: "Силу нашу испытываешь? А хватит ли у самого силенок?"

"Хватит, мил человек!" – Вдруг из темноты к костру шагнул белый-белый дед. Чудо: идет без лыж и не проваливается. Остановился в двух шагах и говорит: "Как увидишь утром Синюшонка, бей его прямо в глаз. Не попадешь – не видать тебе соболька. Заговоренный он".

"Мне, деда, живым его надо", – отвечает Иван.

"С живого, что ли, шкуру снимать хочешь?"

"Зачем шкуру? Посадят его в клетку и отвезут в далекие леса, чтобы там зверь рос и плодился..."

Захохотал, захихикал дед, дунул на костер так, что искры посыпались. "Не забудь – в глаз бей", – заскрипел он и пропал.

Очнулся Иван. "Фу ты, ерунда, и надо такому причудиться". Встал, подрубил щепы, потрепал по голове вертевшуюся у костра Белку.

Вернулся Максимыч. Повернули они спины к огню, и рассказал Иван товарищу короткий сон.

– Заговоренный? Ничего, мы и на заговоренного сеть поставили. А вот когда я был мальчонкой, таких дедов не во сне, а в жизни встречал. Кержаки собирались на охоту с молитвами, заговорами да иконами. Без молитвы из избушки не выйдут. А людей новых, как огня, сторонились: боялись дурного глаза. Такие вот деды совсем соболя выбили в наших краях. Тайга будто вымерла. И ни молитвы, ни заговоры не помогали. Запустили тогда в тайгу баргузинского соболя. Перемешался он с алтайским и расплодился. Кур стал таскать на заимках.

– Синюшонок, видно, тоже от баргузина?

– Может, и от него...

Вскипятили охотники чай, накормили собак сухарями и направились к каменной россыпи. Снег здесь лежал глубокий и плотный. Крепкий наст ранил руки. Иван ломал его упрямо и думал, как поймают они Синюшонка, как разгуляется он в незнакомых горах и, наверное, выведет свое потомство. В далеких лесах соболями тоже станет богато. А люди снова отловят их, увезут на новые места, где отродясь не было такого зверя. И снова разрывал Иван стеклянный снег.

Нет, Синюшонок, не уйти тебе, какой бы ты заговоренный не был.

## *В родных краях*

Соболенок в это время был далеко. Он ушел ночью по каменной гриве, осторожно пробираясь под снегом. Он видел отсвет пламени костра, который плясал на деревьях, и торопился уйти дальше.

Синюшонок хорошо знал эти места. Три года назад начал он знакомиться с жизнью на серых россыпях и в густых распадках. Позже морозная зима и обилие снега заставили его спуститься в черный пихтач, где много всякой дичи. Здесь летом впервые он повстречал соболюшку и дрался со старым черным соболем. Синюшонку трудно досталась победа, но он поверил в свои силы и почувствовал себя хозяином в большом лесу.

Он никого не боялся и стал нападать на зверя крупнее себя. Однажды Синюшонок загнал в скалах маленькую косулю и

понял, что не обязательно быть большим – надо быть злым и смелым.

Как-то он встретил в своих владениях следы незнакомой соболюшки, полдня бежал за ней без отдыха и чуть было не попал в беду. Вовремя почувствовав опасность, он вскочил на дерево и увидел страшную картину. На голой макушке пихты сидела соболюшка, выгнув крутую спину. А у дерева стояли две тени и надрывались лохматые белые звери. Потом грянул гром, и лес долго гудел и вздрагивал. Видел Синюшонок, как дергалась в снегу, обливаясь кровью, свалившаяся соболюшка. Как подняли ее с земли, ударили головой об пень, вертели во все стороны и смеялись. Потом лохматые звери учуяли его и бросились к пихте. Сломя голову помчался по вершинам деревьев Синюшонок. Бежал он до сумерек к родым россыпям, там забился в высокий крепкий пень и трое суток не подавал признаков жизни. Он понял, что даже на глаза опасно попадаться незнакомцам с их лохматыми белыми зверями.

И сейчас, столкнувшись с ними, он напрягал силы и стремительно, не останавливаясь, уходил в родные места. Одно не мог понять Синюшонок: чего хотят незнакомцы? Сколько раз они видели его совсем близко, и давно могли бы оглушить громом, как ту маленькую соболюшку.

Перевалив через гребень высокой сопки, Синюшонок нашел в засыпанном снегом распадке укромное теплое дупло и отлично выспался в старых гнилушках. Отдохнув от волнений и погони, он еще немного бежал утром, а потом пошел мягко, крадучись и нюхая воздух.

За время погони он съел двух мышек и немного рябины и сейчас в животе его было легко и пусто. Злая решимость овладела им. Появись сейчас куропатка, заяц или даже зверь покрупнее, Синюшонок, не задумываясь, начал бы драку.

В кустах у ручья он расправился с маленькой синичкой, но только раздразнил себя. По ручью вышел из распадка на широкую поляну, где тесно выстроились старые осины и березы. И здесь, прижимаясь к снегу, он пополз, как кошка. На кустах, на деревьях совсем близко сидели рябчики. Они беззаботно клевали оттаявшие почки, грелись на солнце. Никакая опасность не могла угрожать лесным курочкам в тихое зимнее утро.

Синюшонок прыгнул на крайнюю птицу и подмял ее. Нижние рябчики вспорхнули и подались выше, где нежились птицы, ослепленные солнцем.

"В путь-в путь, подь-подь", – раздались тревожные булькающие звуки и все птичье семейство как ветром сдуло. И ясно услышал Синюшонок снова близкий злой лай.

Соболек рванулся в гору, но пойманный рябчик бил крыльями, мешал пробираться через кусты и ползти под снегом. Соболек обернулся и увидел мечущиеся тени и кувыркающихся белых зверей. Синюшонок куснул еще раз птицу, бросил ее и побежал, не оглядываясь. Гонка утомила его. Но он знал, что надо долго бежать, запутать следы, перехитрить погоню. Голод терзал Синюшонка, и прыжки его теряли прежнюю силу.

Он выскочил на лысую верхушку сопки. Ярко белели склоны, а родные синие хребты лежали, как ни в чем не бывало. Если бы мог он сейчас единым прыжком уйти туда, высоко, в скалы, в запутанные россыпи...

Он бежал быстро, пока погони не стало слышно. Синюшонок торопился в чащу, что темнела у лысой вершины. Это была мрачная северная сторона, куда даже в полдень не заглядывало солнце. За чащей круто поднимались хмурые скалы. Деревья стояли плотно, склонив друг другу на плечи вершины в тяжелых снежных шапках.

Синюшонок не оставлял следов в черном лесу. С крайнего дерева он ловко перепрыгнул на другое, потом поднялся выше и пролетел по воздуху на третье... Он уходил все дальше верхами, стараясь не сбивать снег и не поднимать шума. У самых скал, в буреломе он нашел неприметную высохшую лесину и юркнул в дупло.

## *Лесная флейта*

Скатились охотники в черный лес и пошли осторожно, ощупью, читая по слогам соболиные хитрости. Как мягко ни прыгал Синюшонок, но кухта, сбитая лапой или пушистым хвостом, свежие щербины на чистой снежной скатерти многое говорили Ивану и Максимычу.

Белку с Малышом не проведешь. От дерева к дереву, по-

визгивая и выбиваясь из сил, тянутся они к старой лесине. И вот нашли ее, облаяли, царапают ствол, рвутся вверх.

Разгоряченный Иван кое-как забрался на соседнюю пихту, потянулся к стволу, глянул в черную дыру дупла и увидел две блестящие бусинки. Не поверил: не от гонки ли глаза слезятся. Протер их и снова заглянул в дупло. Нет, играют бусинки, переливаются.

"Максимыч, Максимыч, здесь он!" – обрадованно закричал Иван сверху, и дрожащими руками заткнул щел рукавицей-мохнаткой. А сам сидит на дереве, боится, что уйдет Синюшонок. Максимыч вытащил из мешка топор и стал рубить из куска дерева большую круглую пробку. В самый раз она к дуплу пришлась.

Потом вместе налегли на старое дерево. Весело застучал топор. Под самый корень рубят охотники лесину.

Наконец, хрястнула она об землю и развалилась надвое. Замер Иван, вспомнил ночного старика: "Заговоренный он". Но Максимыч, откуда только прыть взялась, распутал сеть и бросился на лесину, как вратарь на футбольный мяч. Опутали охотники место, а собаки бросаются на бревно со злостью, готовы растащить его по кусочкам.

Рубит Максимыч в лесине оконце. Ставит перегородку из щепы, стучит, гонит зверька к отверстию.

Пляшет п поет в руках Максимыча топор, пот с него в три ручья, но работает он с остервенением, весело, будто за тем и шел из дома, чтобы у черта на куличках, у снежных белков помахать топором.

Скоро лежала у ног охотников большая лесная флейта, вся в дырочках- следах. Но зверек затаился, не показывается. Глянул Максимыч в черное дупло – и замурлыкала, запела флейта. Так вот он, чертенок, рядом совсем! Протянул Максимыч руку в толстой рукавице, хвать соболька за шею – и вытащил. Забился Синюшонок, змеей обвился вокруг руки, как ножом, полоснул острыми зубами. Не успел максимыч перехватить другой рукой, как острая боль обожгла его пальца.

Иван держал наготове стальную сетку-решетку. Затолкали они туда соболька, крепко закрутили крышку проволокой. С остервенением грыз зверек зубами стальную сетку.

Так вот ты какой, Синюшонок! Семь дней за тобой хожено, семь потов пролито, семь сопок позади оставлено.

Прикрыл Иван глаза на минуту, и навалилась на него непонятная тяжесть. Все закружилось: и белки, и скалы, следы норки, следы Синюшонка. Сейчас пойдут они назад по синюшонковой строчке и не будет она уже манить его, не будет ничего обещать. И от этого Ивану немножко грустно.

А Максимыч сидит на лесине и разговаривает с Синюшонком.

– Ну, что щуришься, что? – спрашивает  и его заросшее усталое лицо расплывается в счастливой улыбке.

Дохнул ветерок в ущелье. Пробудил верхушки деревьев. Пробежал по матовому насту и что-то задрожало, застонало в разбитой лесине. Это тайга провожала Синюшонка, и лесная флейта пела ему прощальную песню.

## *Белкин сюрприз*

Возвращались быстро. Хотелось до сумерок добраться к черной избушке, отдохнуть и отогреться. Через плечо у Ивана – решетка, где сжался в комок присмиревший Синюшонок. В великой тоске косит он на синие хребты и грызет стальную сетку. Никогда не видать ему родных гор, не наводить страха на птиц и зверей, не скакать по верхушкам пихт. Синюшонок хорошо помнил судьбу соболюшки. Где о какой пень разобьют ему голову незнакомцы? Почему они медлят, почему лохматые белые звери бегут совсем рядом и не кричат больше?

Острыми зубами грызет Синюшонок холодную сталь. Иван накрывает ношу широкой рукавицей.

У березняка собаки вспугнули на кустах одинокого рябчика. Максимыч без труда поймал его и определил, что его драл соболь. Хотел он сразу же пустить курочку в расход, да Иван не дал.

– Принесу своим пацанам рябка живого.

Посадил он курочку в заплечный мешок, так чтоб клюв ее торчал в небо. Через полчаса она отогрелась, и за плечами Максимыча послышалось: “путь-путь, подь-подь”...

Дернулся в сетке Синюшонок: узнал своего рябчика. За-

волновались Белка и Малыш. А рябчик с отчаянным упорством все посылал лесу тревожные сигналы. И, услышав их, другие рябчики срывались и улетали в черную тайгу.

Только к вечеру спустились охотники с Бабиной шишки к своей избе.

И печь уже растопили, отужинали, ко сну стали собираться. Максимыч вышел дров про запас принести. Иван лежал, блаженно вытянувшись, и слушал, как ухает за стеной филин. Тяжелая была гонка. Даже собаки притомились, не подают голоса.

Под нарами в стальной сетке затаился соболек, не приняв мяса из ивановых рук. Подумал Иван, как принесут они Синюшонка домой, как кинутся к нему дети, как будут разглядывать и удивляться. Далекий путь предстоит Синюшонку: сначала вертолетом в Усть-Каменогорск, потом на самолете в Алма-Ату, а потом пойманных соболей повезут на машинах в горы к лесным перевалам.

– Гляди, оказия какая, Белка ощенилась! – В клубах морозного пара протиснулся в избу Максимыч и протянул Ивану живой комочек. – Не ко времени, забегали шибко.

"Пить-пить, подь-подь", – закричал под нарами рябчик.

– Цыц, – сказал Максимыч. Он сел с краю нар, помолчал, покряхтел и заговорил, будто сам с собой.

– Ну, спасем мы щенят... Тогда что? В самый сезон Белку тянуть начнут. А в поселке и так у каждого белкины лайки. Может, одного оставить? Иван, слышь, может одного?

Но Иван не слышал. Видится ему сон, будто в красивых незнакомых горах он выпускает Синюшонка.

Не слышал Иван, как вставал и выходил Максимыч, как под утро, повизгивая, скребла Белка дверь избушки.

... Занимался восьмой рассвет с тех пор, как вышли они из дома. Оттаявшие на солнцепеке ветви, замороженные ночью, засветились хрустальными люстрами. Солнечные зайцы осветили распадок. Рябчик закричал "в путь-подь, в путь-подь!"

– Кто подь, а кто не подь, – передрознил Максимыч, вытряхивая птицу из мешка. – Вот сейчас пристроим мы вместо тебя этого зверя... У-у-у, курносенький, уснул. Но охоте родился... Счастливый, – ласково ворчал он над крошечным щенком и дышал на него. Посадил в рукавицу, завернул в тряп-

ки, положил сверху с свою сумку.

Увидев, что Иван возится с рябчиком, посоветовал:

– Сверни ему голову. Все равно живым не донесешь, а суп из него добрый получится.

Держал Иван в руках теплый пушистый комочек и чувствовал, как под упругим крылом бьется маленькое птичье сердце. Зрачки у рябчика расширены, смотрит он не мигая, но где-то в глубине затуманенного бессмысленного птичьего взгляда виделась Ивану искра жгучей тоски. И он не мог уже убить птицу, как делал это иногда раньше. Крылья у птицы целы, а за ночь ранка на спине затянулась. Рябчик резко, из последних силенок напрягал свое тельце, пытаясь вырваться из твердых ивановых ладоней. Но вырвешься разве?

– Э-э, да тебе рано, видно, в суп. Может, отпустим рябка, а? Ведь его уже и соболь драл и страха он натерпелся. Взмахнул и вон рукой, вздрогнула птица, захлопала крыльями и тяжело потянула вверх из распадка. Иван долго молча провожал ее взглядом.

Белка не обращала на все это внимания. Она не спускала глаз с максимычевой сумки, где, сладко посапывая, наевшись вкусного материнского молока, спал белый слепой щенок.

От избы они быстро покатили по старой лыжне. У Ивана временами было такое чувство, будто он что-то оставил в лесу, за чем обязательно нужно потом вернуться. Максимыч едва поспевал за товарищем. Он видел все время перед собой, на спине Ивана, решетку с живым Синюшонком и на сердце у него было спокойно.

Белка волновалась, скулила и норовила вернуться назад.

Спуск – подъем, спуск – подъем. Расступайтесь, раздвигайтесь, синие горы!

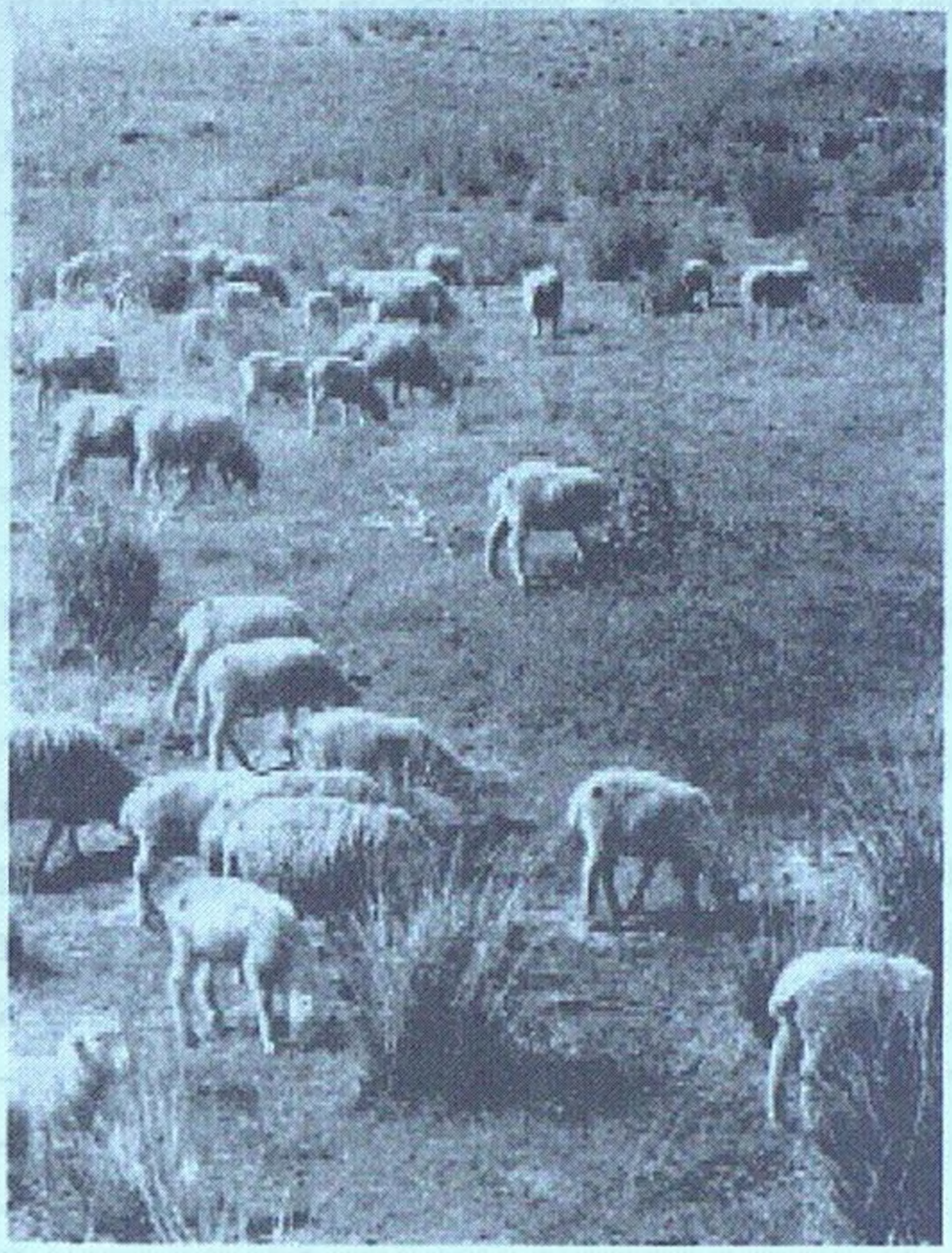
Мы несем соболька Синюшонка!

Мы несем крошечного щенка Синюшонка!

Несем к поселку Синюшонок, что стоит у подножья густой синей горы.

Узнает Иван знакомые места, кланяется на ходу пихтам, пригибается, чтобы не сбить головой с разлета снежные лапы. И чувствует о себя вдруг очень богатым, словно клад сокровенный открыл, доступный и понятный ему одному, или ключ нашел к неразгаданной тайне. И просит его душа хорошей песни о лесе, ветре и охоте. Во весь голос хочется ему запеть. И жалеет Иван, что никто еще не написал такой песни о Синюшонке.

# НЕЖНЫЙ ЛОПОУХИЙ



Берег Коксу невысокий. От него сразу начинаются горы. Усыпанная щебнем широкая тропе прячется под кустами барбариса, уводит на безлесый склон, где старик пасет отару. Рядом лес и шумная река, котора за весну три раза меняет русло. Но это все равно не джайляу. Но верхние пастбище еще рановато: июнь мокрый и холодный, с частыми ливнями, снег иногда ложится на траву белыми цветами.

Месте здесь не зависть: закрыты от ветров холмами. Склоны не сразу завалило снегом, овцы до конца ноября находили пищу. Отара зимовала в лучшем ущелье. Осенью со всего хозяйства в нее отобрали ослабленных и больных овец, а там на открытом плато Торайгыр они принесли бы больше хлопот и огорчений.

Камал-апа разбудила старика рано, еще вершины Кунгея не окрасилиь розовым светом. Старик угнал отару, не попив чаю. Сейчас самовар кипел вовсю. Камал-апа напекла лепешек и, выходя из юрты, все поглядывала на верх, в сторону сопок, не ковыляет ли ее старикашка, Курманбай от старости, что ли, стал ленив? Все бы ему поспать, да гостей принимать. Но Камал-апа не очень дает ему спать. Не разбуди, он пролежит не только обеденный зной, но и вечернюю свежесть. Отару все время надо перегонять в тенистые про-

хладные места, где сочные травы, пусть овцы набирают силы. После злой зимы и неровной весны добрая половина овец чихала и кашляла от простуды. Но, слава аллаху, все обошлось.

С высокого берега Камал-апа поглядывает в низину, где пасутся ее коровы. Трава там, правда, короткая, но ровная и нехоженная: и коровам раздолье у самой реки, когда надо, попьют, когда надо, сами уйдут в тень тальника. Тихо здесь и спокойно, только птицы поют звонко, только ящерицы неслышно перебегают из одного травяного островка к другому, только Коксу шумит, подмывая желтый глинистый берег и корни деревьев, как тонкие белые кости, трясутся в ее пене.

Слава аллаху, что зима позади. Не приведи еще такой зимы, как нынешняя. Снег ранний, глубокий, морозы. И валит, и валит, будто хочет засыпать всю землю вровень с горами. Овцы уже не в силах сладить с пургой и пробиться к сухим былинкам. Да что вспоминать – все позади, все прошло. Трудное забывается, как тяжелая болезнь, которая вдруг оставила тебя в покое. И пусть мокрый июнь, но травы богатые. Через три дня погонят овец на стрижку. Будет слет стригалей, съедутся со всего района. И можно встретить и Бигайшу, и Бигалу, и старого Сапаргали, поговорить о детях, которые учатся в городе, о близких, свадьбах, полюбоваться девушками и джигитами, сделать разные закупки в дежурном магазине, сказать что-нибудь колкое председателю – у Камал-апа острый язык, и это все знают.

У старухи стало слабеть зрение. Раньше из старого японского карабина она одной пулей снимала тарбагана на другой стороне ущелья. Волков ей, правда, не приходилось убивать, но отгонять – отгоняла, смело, как безрассудная девчонка, мчалась на хрипящей лошади в сторону оранжевых злых огней. Сейчас Камал-апа не такая смелая. Болят поясница и ноги, а выполнять домашнюю работу нелегко. Хорошо бы иметь рядом невестку. Но старший сын в городке работает в солидном учреждении. Живет в большой квартире и приезжает только раз в год, на джайлау, когда пенится кумыс и все вокруг радуется жизни. Второй сын – Хамид – шофер, живет на центральной усадьбе: возит на “газике” начальника. У родителей бывает, правда, чаще старшего, и сын его Мурат на

каникулах вместе со стариками, помогает стеречь отару. Он уже лихо скачет без седла.

Хамид часто возит начальство и разных представителей по отгонам. Машина взбирается там, где лошади задыхаются на подъеме. Новые люди обычно хотят открыть дверцу, выпрыгнуть и шагать рядом до самого места. Дух захватывает, если глянешь вниз. Кони кажутся муравьями, а юрты белыми камешками. Хозяин не боится – привык. И Хамид привык. Если бы не озеро Кулимсай, он, наверное, заехал бы на самый хребет.

Хамид заглядывает часто, и Камал-апа в курсе всех событий. Она узнает о новостях раньше, чем старик. Камал-апа все время у юрты, а старик в горах. Хамид с матерью откровенней. Он часто рассказывает о том, что видит и слышит, когда возит начальство. Так что апа знает не только про ближние зимовки, но и о соседях из других хозяйств. Весной на собрании, когда подсчитывали потери, Камал-апа встала и при всем честном народе произнесла такую речь, что баскарма нервно улыбался и вытирал вспотевший лоб носовым платком, а старик ее, втянул голову в плечи, сидел бледный от страха. Такой уж он робкий и нерешительный, и ей приходится всегда объясняться за двоих.

Камал-апа разложив на дощечке белые шарики сырого курта и вынесла на солнце. Ее чуткое ухо услышало шум машины. На подъеме надсадно выл мотор, и старуха обрадовалась: не Хамид ли едет. Кстати и чай вскипел, и скоро спустится старик. Мясо у нее есть, можно пригоговить куырдак.

Машина урчала, останавливалась, и Камал-апа долго не могла ее увидеть из-за тальника, растущего вдоль Коксу. Потревоженные коровы нехотя пошли от реки. На поляну выскочил зеленый прямоугольный автомобиль, настоящий ящик на колесах: не то "техничка", не то "скорая помощь". Суетились какие-то люди; там были дети и две женщины. Мужчины держали на руках длинные палки. Камал-апа долго смотрела из-под ладони на незнакомцев, но никого не могла узнать. Чего они носятся у реки, только пугают коров.

На зимовку посторонние заглядывали редко, уж больно далеко от центральной усадьбы, тем более от района. Не зная

дороги, не рискнешь подняться к Кунгею. Среди приезжих наверняка есть местные.

Старухе очень хотелось узнать, что за люди, но те не торопились к юрте. Мурат возился с удочкой внизу, у большого желтого камня. Хитрые горные османы почти не клевали, и он обрадовался, когда бабушка позвала и послала узнать, что там за люди.

Солнце уже припекало. Со склонов, из зарослей кустарников серым суматошным потоком сползала отара. Овцы, откнув морды в белую пену, долго стояли, словно собирались выпить всю реку. Сейчас они резвые и крикливые, и шерсть у них белая и мягкая, ноги крепки, и курдюки тяжелые. А ведь недавно на них было жалко смотреть. Висят на сугробе, не достают копытом землю и плачут жалобно, как малые дети, и жуют друг на друге свалявшуюся шерсть.

И ты, Чернобокий, в январе целую неделю жил в чабанском доме, потому что был плох и ложился на снег. Гиблое дело, когда животное часто ложится на снег. К весне получит простуду. Ничем тогда не спасешь. Хоть отпаивай парный молоком.

Главное – вовремя увидеть слабых, пригреть и приласкать, накормить вдоволь. И ты, Кудрявый, грелся у горячей печки. И ты, Нежный Лопоухий, три раза за зиму переходил из дырявой кошары в чабанский дом, потому что был плох, совсем плох, и у тебя были такие печальные глаза и слабая шея, что ты не мог поднять голову. Сейчас Нежный Лопоухий, – краса отары, настоящий козы с длинной густой шерстью, в которой тонут пальцы.

Из шестисотголовой отары добрая половине перебывала в доме за долгую зиму. Овцы ночевали и в сенях, и на кухне, и в спальне под кроватью. В ослабленной отаре Курманбая получили по шестьдесят ягнят от каждой сотни овцематок. В такую злую зиму это достижение. Курманбая премировали транзисторным приемником "Комета". А Камал-апа вместо того, что поблагодарить, вышла тогда на трибуну и раскритиковала председателя.

... Овцы утихомирились, разбрелись по кустам, спасаясь от жгучего солнце. Курманбай кряхтя слез с лошади, пошел в юрту и в блаженстве растянулся на кошме. Старуха рас-

стелила дастархан и подавала мужу пиалу за пиалой. Курманбай пил чай долго и молча. У него не было никаких оснований волноваться. Дела в его отаре идут хорошо. Скоро подниматься на джайлау – самое счастливое время года. Пусть другие чабаны видят, что он, Курманбай, сделал из ослабленной отары. Кто мог в колхозе подумать, что выбракованные овцы благополучно выйдут из такой зимы.

Запыхавшийся Мурат принес новости. Эти люди ловят рыбу. Они приехали из района. Среди них один русский из области. Какой-то инспектор. Он молодой и в очках, но его все называют аксакалом. С ними охотник Жануспек с женой и усатый Сагат из райпотребсоюза с женой и детьми.

– Ловят они османов – вот такой сеткой, – Мурат в восторге развел руками. – Двое держат ее на палках, а Жануспек идет сверху в резиновых сапогах и колотит дубинкой по воде. Рыба с перепугу и мчится. За один раз – полведра.

Старик неторопливо отставил пиалу:

– Бог с ними, у людей есть время, и они его неплохо проводят. Жануспек, Жануспек... Уж не тот ли охотник из Токтала?

– Тот самый, дедушка.

– Он тебе ничего не говорил?

В голосе старика послышалась на стороженность.

– Говорил, что зайдет. У него к вам есть дело.

– Какие еще дела у тебя могут быть с Жануспеком? – проворчала старуха.

– Так ничего. Мало ли что у людей...

Курманбай встал и начал собираться.

– Куда ты так рано? – с удивлением спросила старуха. Обычно Курманбай отдыхал, пережидая полуденный зной.

– Я облюбовал хорошее место на южной стороне. Погоню вдоль реки, там прохладно...

Такое с Курманбаем случалось редко. Камал-апа всегда говорила, что чабан, который много отдыхает летом, – плачет зимой. Наверное, старик хочет укрепить свой успех. И она порадовалась этому.

Мурат умчался к приезжим. Такой богатой рыбалкой он никогда не видел. Полдня торчишь с удочкой, едва вытянешь парочку мелких форелей. Вот бы самому достать сетку.

На реке кричали и смеялись. Теперь и женщина полезла в

воду, засучив выше колен синие спортивные брюки. Вода была холодной. Ноги у женщины стали розовыми. Она била палкой по воде, все улюлюкали, а дети бросали камни, пугая стоящих под валунами османов.

Очкастый русский не принимал участия в рыбной ловле. Сначала он, правда, тоже бегал по берегу и кричал, а когда увидел под кустом шиповника гриб с большой белой шляпкой, то ушел в сторону искать эти самые грибы. Мурат мог бы показать, где такого добра видимо-невидимо. В стороне за зеленым холмом грибы торчат в траве, как белые камни. Никто их никогда не собирает, ни дедушка, ни бабушка, ни сам Мурат. И в жизни никто не пробовал их на вкус.

Машина рывкоми двигалась за рыбками.Шум и крики все приближались к юрте. Камал-апа несколько раз ревниво косилась в сторону незнакомцев, на всякий случай подерживая огонь в самоваре.

Старуху разбирало любопытство. Ей хотелось поговорить с приезжими, узнать новости. Зеленая машина остановилась напротив мостика, что вел к юрте. Камал-апа складывала в кучу сухой кизяк и даже головы не повернула. Искоса она поглядывала на берег. Машину она узнала. На ней весной приезжал ветсанитар, когда составляли акт о подеже. Это “Скорая ветеринарная помощь”.

Камал-апа земетила, как к машине подошел радостный русский в очках. Он неуклюже полез в кабину. Руки у него были заняты: он что-то нес в подоле рубахи. Потом полезли в машину другие, за исключением детей. Дверца захлопнулась, все стихло, будто там уснули. “Ветпомощь” стояла напротив юрты длительное время. Это еще больше распалило старухино любопытство.

А потом пришел Мурат и сказал, что в машине пьют водку и закусывают. Старухе стало неловко за свое любопытство. Она даже разозлилась на приезжих, которые устроили пир на пороге и пренебрегли домом. Она с вечера поставила коже, и есть мясо. Она смогла бы достойно встретить гостей... Камал-апа расстроилась.

Она взяла ведра и пошла к Светлому ключу. Вверху подмыло берега. Вода в реке была красно-желтой. Старухе расхотелось встречаться с приезжими. Она думала задержать-

ся и прийти, когда на берегу никого не будет. Камал-апа не торопясь набрала поды, посидела у ключа на сухом дереве, погрела поясницу на солнце, слушая, как скрипит в траве одинокая птица. Она смотрела, как бьются в струе ключа светлые желтые песчинки, и ей было очень хорошо. Она подумала, что, может, несправедлива к Курманбаю, ведь он не семь лет старше же. Он был на фронте, у него болят ноги, и старик имеет право отдохнуть немного больше.

На тропе появился Мурат и сказал, что усатый Сагат и охотник Жануспек в юрте и за ней послали. Камал-апа не стала торопиться. Она сдержанно относилась к усатому Сагату. Правда, она видела его несколько раз, но ей сразу не понравилось, как Сагат говорит с людьми, полуприкрыв глаза и выпятив двойной подбородок. И тон у него такой, будто все на свете зависит от него. Осенью наобещал чабанам привезти с автолавкой всяких редких товаров, но на зимовках больше не появился, а продавец говорит: "Что дали – тем и торгую".

От Жануспека в тысячу раз больше польза, чем от усатого Сагата. Прошлым летом в Кривую щель, где стояло шесть отар, стал приходить волк. Овцы пропадали почти каждый день. Волк был хитер: он дважды не лез в одну сторону. Он соблюдал строгую очередность. И это его погубило. Когда вызвали Жануспека, он хорошо изучил повадки хитрого зверя. Завернувшись в ватное одеяло, охотник целую неделю ночевал на верхушках ближних сопок, там, где по его догадкам мог появиться каскыр. Однажды на рассвете он подкараулил его и убил двумя выстрелами из карабина. Это был очень большой и старый волк. Со всех шести отар приехали чабаны к горе Кзылтас посмотреть на серого разбойника. Почти два месяца не давал он покоя чабанам, а вот Жануспек за короткое время выследил и перехитрил зверя.

Камал-апа готова принять такого гостя.

Мурат взял одно ведро, они пошли к юрте по каменистой сыпучей тропе. Солнце уже стояло высоко. Земля нагревалась. Приторно и сладок пахли травы. Бабочки, утомленные зноем, долго не поднимались с пестрых цветов, птицы смолкли, спокойно и монотонно шумела внизу река. Горы дрожали в знойном мареве, словно нарисованные на тонкой прозрачно-голубой кисее, послушной легкому движению ветра.

Сагат и Жануспек стояли у юрты. Камал-апа сдержанно поздоровалась. Сагат первый заговорил, не соблюдая никаких приличий.

– Ты что же, байбише, забыла закон гостеприимства. Хозяева разбежались вместо того, чтобы расстелить дастархан и пригласить людей отдохнуть с дороги.

По красному лицу и осоловелым глазам было видно, что Сагат выпил.

– Я не думала, что гости такие робкие, что с самого утра не решатся войти в юрту. У каждого человека, наверное, есть свои дела...

– Не сердись, апа, – обратился к ней Жануспек, – нас много, и мы не хотели вас беспокоить.

– Какой может быть разговор, – старуха сделала вид, что обиделась.

– Где хозяин? – спросил Сагат.

– А где ему быть? Там! – и она кивнула головой в сторону Кунгея.

– Надо послать за ним, – сказал Сагат. – С нами человек из области, большой специалист. Он хочет поговорить о зимовке.

– Что ж, пускай говорит, – сдержанно ответила Камал-апа, – у меня хорошая память, а Курманбай вернется позже. Не бросать же ему отару.

– Рассуждаешь так, будто каждый день к вам приезжают люди из области, – важно сказал Сагат, – за овцами может посмотреть мальчик.

– Не будем спорить, я еще не видела никакого человека из области. Прошу всех в дом. – Камал-апа откинула полог юрты.

– Я позову остальных. – Жануспек ушел.

Скоро в юрте стало тесно и шумно.

Пришли жены Сагата и Жануспека. Одна располневная белолицая, другая сухощавая, дочерна загорелая с красивым тонким профилем. Дети Сагата – два мальчика – лет десяти и двенадцати с острыми любопытными глазами. Не было только очкастого русского. Все полукругом уселись на кошме, сняв обувь. Камал-апа подала чай с куртом и баурсаками.

Сагат послал сынишку за русским, тот скоро пришел, ус-

тадый и раскрасневшийся, с полной сумкой грибов. Все шумно выразили свое удивление, Сагат пригласил русского на почетное место рядом с собой и назвал аксакалом.

Гостю было немногим более тридцати, длинные светлые волосы спадали на его мокрый лоб. Он снял очки, протер их, и, близоруко щурясь, почтительно улыбался хозяйке.

Все выпили по две-три пиалы, потом Сагата вытянул откуда-то из-за спины бутылку "Экстры", и еще одну – с вином. Женщины слабо запротестовали, но их протест был словно дождевая капля перед горным потоком.

Хозяйке тоже налили. Она давно не пила водку. С самой зимы, когда Курманбай простыл и заболел, а она всю ночь в сильный мороз ходила вокруг зимовки с ружьем и криками отпугивала волков, которые были совсем близко. Она очень замерзла. Под утро старик заставил ее выпить водки. Ей было тепло, и хорошо, и она скоро уснула.

Сагат растянулся на кошме и расстегнул пояс. Лицо его стало совсем красным. Жануспек вытирал платком потное лицо и отдувался. У русского под очками блестели глаза, он передвигал ноги: ему было непривычно и неудобно сидеть. Женщины перешептывались между собой и хихикали.

"Гостям надо поесть, – подумала Камал-апа и поставила казан на железную печку. Она быстро раздула угли, подложила кизяка и, сполоснув руки, стала резать мясо. Хмель немного ударил в голову. Ей хотелось говорить и быть гостеприимной.

Первым перебросил мостик между гостями и хозяйкой предупредительный Жануспек.

Он спросил, тяжела ли шуба у овец, и вспомнил, как Камал-апа раскритиковала баскарму на весеннем собрании.

Очкастый прислушивался к разговору, но не все понимал по-казахски.

Он обратился к Жануспеку, и тот перевел хозяйке:

– Владимир Иванович интересуется, почему в соседнем колхозе кормов было заготовлено гораздо меньше, чем в вашем, а с зимовкой они справились лучше.

Камал-апа удовлетворенно хмыкнула. Ишь куда аркан забрасывает. Видимо, обо всем знает. А если знает, то зачем спрашивает? Хотя ей нечего скрывать. Надо говорить на каж-

дом углу, может, на пользу пойдет некоторым, может глупостей не станут повторять. Разве дело только в кормах, когда высокий снег и злой мороз стоят месяцами. Наш колхоз не торопился перегонять овец к зимовкам, пусть больше нагуливаются, надо, мол, экономить корма. И доэкономились. Снегом сразу накрыла землю, и большая часть овец не дошла до зимовки. А те, что простыли и заболели? Разве вылечишь их одним сеном? Соседи сделали мудрее. Скот перегнали не торопясь, по сухостою, не дожидаясь заморозков. Корма были собраны в определенных местах по базам. Когда стало ясно, что приходит трудное время, соседи весь скот развезли по базам, устроили временные загоны и зимовки. Трудно было, холодно было, но корма все время под рукой. А наши стали развозить сено по отарам. Попробуй пробейся через снежные завалы. Без трактора и бульдозера невозможно. Пригнали на помощь даже два старых танка. А что такое машина сена для целой отары? Каждому по клочку. Нет, соседи оказались мудрее. Они на базах установили дробилки: и солома, и ветви кустарника – все пошло в дело. Выстрадали, вытянули трудные месяцы. А нам с вертолетов сено сбрасывали. Больше деньги...

Камал-апа говорила и говорила, помешивая в казане мясо. Жар от раскаленной печки ударил ей в лицо, щеки покрылись темным румянцем, но хозяйке рассказывала не торопясь, с расстановкой и рассудительно.

– Но ведь вы же с зимовкой справились, и неплохо, – вставили Владимир Иванович. Жануспек перевел.

– Справились, справились, – ответила Камал-апа. – Но наша зимовка стоит ближе к пастбищу и снега здесь меньше.

Помолчали. Наверное, очкастый и сам понимал, что дело не только в близкой зимовке, но не стал допытываться, а старухе вовсе не хотелось ворошить старое, тем более что в этом году, правда уже в который раз, обещали утеплить все кошары, а к осени закончить строительство новых.

Она всю зиму долбила ломом и лопатой схваченную морозом подстилку, следила, чтобы овцы не ложились на лед. Гиблое дело, если овцематка подморозит соски, какого тогда ожидать приплода. Старуха снова почему-то вспомнила Не-

жного Лопоухого, который наверняка бы не дожил до весны, не принеси его в дом.

Сейчас не о прошлом надо горевать, а лучше проследить, как строят кошары. Недавно ее сын Хамид ездил по зимовкам. Везде начали строить, но конце не видно, то людей не хватает, то вовремя не подвезут воды и цемента. А ведь ничего сейчас нет важнее строительства. И если бы все – и в области и в районе – серьезно переживали за зиму, которая придет, помогали и проверяли, а не только рассылали разные важные бумаги, то была бы великая польза для всех животноводов.

Камал-апа толком незнала, что это за Владимир Иванович из области, может быть, даже большой начальник. Но тем лучше. Пусть слушает, запоминает и скажет где надо. Даже если бы сам министр приехал, Камал-апа не постеснялась сказать все, что думает. У нее язык за двоих, за себя и за Курманбая. Может, она и за всех говорит. Бояться ей нечего. Не очень торопятся занять ее место.

Куырдак уже поспел. Запах жаренного мяса приятно щекотал ноздри. Сагат удовлетворенно причмокивал пухлыми красными губами. Откуда-то из-за спин сидящих появилась еще одна бутылка. Женщины теперь не протестовали. Только очкастый негромко спросил: “Может быть, хватит?”

– Ты, Владимир Иванович, наш гость, – льстиво и вкрадчиво сказал Сагат.

– Неудобно без хозяина...

Тут все зашумели и стали требовать хозяина. Говорили, что не притронулся к куырдаку, пока не приедет старый Курманбай. Камал-апа не стала возражать. Хотя не время сейчас для шумных обедов, еще гнать отару на стрижку, а потом длительная кочевка на джайлау. Но она не стала возражать, потому что гости есть гости.

Она вышла из юрты и позвала Мурата. Голос ее, тонкий и протяжный вернулся от сопки негромким эхом, будто в черной тишине ельника прокричала разбуженная птица.

Неожиданно стало пасмурно, как часто случается в горах, вершины Кунгея затянуло плотным серым туманом, верхушки деревьев едва виднелись, а воздух наполнился сыростью.

Конечно, Курманбаю пора возвращаться. Туман может спуститься в ущелье, и, чего доброго, повалит снег. Когда Мурат откликнулся в ее зов, старуха наказала ему, чтобы дед возвращался.

В юрте было весело. Жануспек рассказывал Владимиру Ивановичу, как на него однажды напал барс и задрал его любимую гончую Саккулак-Острые уши. А у него была только малопулька. Он стрелял в барса четыре раза.

Женщины удивлялись, а Сагат подтрунивал над охотником. Жануспека это задевало. Он клялся, что шкуру отдал одному инженеру, который строил дорогу через перевал. У него есть адрес инженера. И если кто будет в городе, может зайти посмотреть.

Общего разговора не получалось. Женщины громко обсуждали качество заграничных туфель, которые на днях привезли в сельпо. Сагат с вожделением поглядывал на бутылку.

Через открытый шанрак в юрту упали редкие капли дождя. Старик все не приходил. Камал-апа решила подать горячее. Она стала перекладывать мясо из казана на плоское блюдо.

Когда мясо задымилось, еще раз вспомнили о хозяине.

Все проголодались и ели молча, едва сдерживая торопливость.

Сагат, облизав желтые капли жира с толстых пальцев, удовлетворенный откинулся на кошму. Гости быстро насытились, и сонливая ленность стала слипать им веки.

Камал-апа вышла из юрты. Клочья белого тумана ползли по ущелью, ветер шумел верхушками елей. Старуха прислушалась, но крика овец не было слышно, хотя день уже уходил.

Появились Жануспек с Сагатом. Они расспросили, где пасет Курманбай, и скоро пошли вдоль реки по узкой мокрой тропе, переговариваясь вполголоса.

Жены их, поблагодарив старуху, заторопились к машине. Дневной свет таял. Жена Сагата говорила, что надо успеть приготовить бесбармак для гостей, она это умеет и доставит всем удовольствие. Только бы овца попалась не старой. Камал-апа не обратила на ее слова особенного внимания и толь-

ко подумала, что эти молодухи, скорей всего, готовить умеют и смогут сделать разные кушанья из конины и верблюжатины, а в седле они, наверное, сидят как мешок, набитый соломой, и в детстве не кочевали, не жили на зимовках и не пасли отары. Она их не осуждает: другое время, другое поколение и мужья у них совершенно другие – в войну они были сопливыми мальчишками. Камал-апа в те годы заботилась о целой ораве своих и чужих, ждала Курманбая, ходила с овцами и вязала для фронта теплые носки и варежки.

Нынешние молодухи больше рассуждают о модах и завидуют родственникам, которые устроились в городе. Но не всем же жить в городе. Одно дело, если ты человек грамотный и руки твои и голова нужны там. Но одно дело уметь готовить бесбармак – другое пасти овец.

Камал-апа не собиралась высказываться перед гостями. Напротив, ей было приятно, что люди хорошо отдохнули в ее доме. От водки немного кружилась голова. Но сейчас она сядет на лошадь и поедет искать своих коров, чтобы пригнать на ночь. Она с удовлетворением подумала, что знает и может сделать больше, чем эти молодые женщины, руки у нее быстрые и ловкие. Она может лечить овец, валять кошму и украсить ее хитрым узором. И сейчас не страшно ей пройти с лошадью через перевал. От этой мысли ей сделалось хорошо, и она стала мурлыкать себе под нос старую мелодию, которую помнила еще со времени молодости. Она тихонько напевала о куцей сивке, о бедном молодом пастухе, у которого нет своего коня. Она напевала, изредка поглядывая на приткнувшуюся у берега машину. Дверцы ее были открыты, молодухи ерзали на месте, поглядывая в сторону ельника, где скрылись мужья, а русский из области дремал на сиденье.

Камал-апа скорее почувствовала, чем услышала, людские голоса. Она выпрямилась и посмотрела на тропу, откуда ожидала Курманбая, но то, что увидела, неприятно удивило ее. По тропе, громко смеясь и пошатываясь под тяжестью ноши, вышагивали Сагат и Жунуспеком. Она еще не видела ноши, но поняла, что это такое. Она терпеливо ждала, когда подойдут мужчины, и душа ее мрачнела. Не то, чтобы ей очень было жалко, просто она не понимала щедрости Курманбая, ведь каждая голова сейчас на счету, да еще перед стриж-

кой. Даже близким родственникам они не позволили бы делать таких подарков. Она терпеливо ждала, но мужчины, выйдя из высокой травы, едва взглянули на нее, направились к мостику. Это ее обидело: она все же хозяйка. Когда мужчины шли к реке через площадку, вытоптанную овцами, она увидела на конце ношу. Баран оказался молодым, тяжелым, с белой длинной шерстью. Запрокинутая голова его касалась земли. Сагат и Жануспек тащили его за передние и задние ноги, животное изредка дергалось, напрягалось и замирало, чувствуя свою обреченность. Камал-апа знала лучших овец в своей отаре, а это была хорошая овца. Но из-за темноты она не могла ее разглядеть.

Рассержанная, она заторопилась к мостику, и чем ближе нагоняла гостей, тем больше обливалось ее сердце кровью. Ей показалось что уносят Нежного Лопоухого. Чем ближе она подходила, тем меньше оставалось сомнений. У кого может быть еще такая белая шерсть, такие длинные и сильные ноги, такой нежный изгиб шеи? Конечно же, это Лопоухий. И она побежала тогда, неловко припадая на одну ногу, помчалась наперерез как птица. Она нагнала мужчин у самого мостика, запустила черные скрюченные пальцы в густую шерсть овцы и потянула на себя.

– Ой-пырмай, – воскликнула она, – вы нето взяли, это чужая овца. Отпустите сейчас же, нельзя ее брать, – она говорила невпопад быстро и сбивчиво, тянула овцу на себя, зная только одно, что не может ее отдать. Она была настойчива, и Сагат с Жануспеком разжали руки.

– Хай-хай, – захлопала в ладоши старуха, и пнула овцу в бок острым носком сапога. Нежный Лопоухий поднялся, резво побежал в сторону высокой травы и там несколько раз прокричал, подавая голос отара.

– Ты что, старуха, – хмуро сказал Сагат, – нарушаешь закон гостеприимства?

Камал-апа молчала. Она вспомнила какой заморыш был Нежный Лопоухий и сколько труда ей стоило, чтобы поставить его на ноги. И в том, что он попал бы на стол Сагату, она видела высшую несправедливость.

– Ой-пырмай! Кто вам дал эту овцу?

– Курманбай. Он вернул свой долг.

– Я не знаю ни о каком долге!

– Ты многого не знаешь, старуха! Он вернул то, что обещал, – голос Сагата был резким.

– Но разве в отаре не нашлось другой овцы?

– Он разрешил нам выбор, и мы выбрали. Или тебе жалко для нас хорошей овцы?

Камал-апа могла бы, конечно, сказать, почему ей жаль Нежного Лопоухого. Но ее слова сейчас просто ни к чему. Тем более, что молодухи высунулись из машины, чуть не вываливщись в речку, и с интересом ловили каждое слово.

Камал-апа повернулась спиной и пошла к юрте, которая уже едва сирела в сумерках. На сердце у нее было неприятно, будто промелькнул в ее сознании тяжелый сон, и она еще не знает, к хорошему ли это или к плохому, не может разобраться в подробностях, только осталось неприятное тяжкое ощущение. В юрте она неторопливо зажгла лампу, размышляя о странном поведении своего старика, о его нежелании появиться перед гостями, о его неизвестном долге. "Уже темнеет, и они скоро уедут, – думала она о гостях. – Пусть Курманбай задержится, пусть они уйдут без овцы. Какой еще долг может быть".

Старухе жаль отдавать овцу. В конце концов она тоже хозяйка и задаст старику за самоуправство.

Аллах не принял ее мысли, и скоро она услышала шорох кустов и мелких камешков на сыпучей тропе, нестройное блеяние овец и резкие одиночные выкрики Курманбая. Возвращалась отара.

Камал-апа выглянула. Овцы поднимались от берега бесконечным потоком. Они привычно поднимались вверх и вправо, обтекая юрту, чтобы занять место в загоне.

Местами тучи разорвались, в просветах появились первые звезды, и краешек луны светился бледным зеленым светом. Машина все еще торчала на месте. У моста стояли черные тени. Курманбай оказался там же. Он спешился, и его сгорбленная колченогая фигура хорошо виделась у белой пены реки.

– Твоя старуха позорит нас. Она отобрала подарок.

Камал-апа хорошо слышала глухой раздраженный голос Сагата.

– Разве не ты мне обещал месяц назад лучшего барана, когда ко мне приедут гости? Или твои грехи так тяжелы, что некогда вспомнить об обещанном? У меня все здесь записано. Те двадцать баранов в Черной балке... От кого ты их прячешь? От государства? Если каждый чабан будет думать о себе больше, чем об обществе – что получится? Никакой ты не лучший! Я напишу о тебе всю правду в районную газету!

Сагат будто выступал на собрании.

– Не надо в газету, – пролепетал Курманбай, – десять баранов мои, мне положено, а другие хромого Сеита, у него сын уехал учиться, это его десять баранов...

– Все так говорят, все благодетели, а не пойди Жануспек охотится на Черную балку, никто ничего бы не знал. Может быть, дальше у тебя целая отара спрятана? – ехидно спрашивает Сагат.

– Нет у меня никакой отары, а раз я обещал подарок, то возьмите. Возьмите любого. Мне не жалко для хороших людей.

Старухе было противно слышать, как заискивает Курманбай, тем более, что про хромого Сеита он говорил правду. Конечно, они не должны были этого делать, но ничего страшного нет, если они со стариком приняли в отару десяток овец своего давного друга. Ничего в этом страшного нет, и напрасно белорукий выскочка пугает. Шайтан с ним, пускай берут любую другую овцу и убираются. Пускай убираются и никогда больше не приезжают, иначе Камал-апа найдет такие слова, которые они ни от кого не слышали раньше.

Овцы кричали в темноте. Сагат и Жануспек метались среди них, падали, вскакивали, улюлюкали, бежали, вытянув руки, натыкаясь на кусты, норовя поймать жертву за задние ноги. Курманбай стоял у моста, не шелохнувшись.

Когда гости наконец поймали и проносили овцу мимо, старик нагнулся и запустил руку под брюхо животному. Он нащупал упругие маленькие соски и жестом остановив гостей, попросил выпустить ярочку.

Сагат чертыхнулся, но отпустил. Старик стоял невозмутимый, как изваяние.

Стало совсем темно. Сагат и Жануспек носились среди живого потока, выбирая уже овцу на ощупь. Овцы метались и кричали.

– Похоже, что старик издевается над ними, – шепотом сказал Жануспек. – Давай плюнем на все.

– Ты что? Я уже чувствую вкус бараньей печенки.

Камал-апа вскочила на лошадь и, поддав ее каблаками, умчалась в темноту искать коров, не попрощавшись с гостями, хотя была на виду.

Сагат с Жануспеком нашли, наконец, что искали.

Тяжело дыша, они протопали по мостику мимо старика, и тот не сказал им ни слова. Овца мягко ударилась об металлический пол, пыталась вскочить на ноги, но грубые сильные руки прижали ее к холодному металлу, и она смирилась.

– Похоже, что хозяин не очень рад, – бросил сквозь дрему Владимир Иванович.

Сагат усмехнулся. Он сел за руль и включил мотор.

Женщины торопили. Ребятишки хотели спать и хныкали.

Подошел старик и сказал ровным голосом:

– Извините, гости дорогие, если овца недостаточно жирна.

– Ладно, старик, ладно, – примирительно проворчал Сагат, – не буду писать про тебя. Но больше так никогда не делай. Общественное – главное, а личное потом.

И он дал газ.

Было совсем темно. Ехали, натыкаясь на камни и проваливаясь в неровностях дороги. Мотор едва не заглох в первой речке. Воде дошла до самой кабины, и все разволновались.

Пассажиры "ветеринарной помощи" с радостью приняли светлые огоньки поселка.

Байбише, мать Жануспека, живо очистила османов и обваляла в муке. На большой пече в чугунной сковороде трещала масло.

Сагат во дворе неслышно прирезал овцу. Он принес ее в дом и начал разделывать на полу при электрическом свете. И гости увидели, какая у нее длинная и нежная шея и пушистая и белоснежная шерсть.

Сагат подмигнул Жануспеку: – "Ловко мы провели старуху, а?" – и счастливо засмеялся.

Османы оказались очень вкусными.

Когда сварилось мясо, все уже спали.

# СЧАСТЛИВЫЕ ПОД АБРИКОСОВЫМ ДЕРЕВОМ

## I

Дерево стояло на самом краю дачного участка над арыком, пробитом в толще каменистой земли горной водой. В свой первый взрослый год оно буйно цвело, но плодов дало мало: то ли ветер сбил цвет, то ли прихватило заморозком. Зато по этой весне все сохранилось: абрикосы уже медленно наливались соком, меняя зеленый цвет на теплые тона.

На маленькую дачку в одну комнату, с бетонной палубкой опоясавшей постройку, в нынешний сезон приезжали редко. Хозяйку, пожилую, но еще крепкую женщину, с которой не вязалось понятие старушка, зимой неожиданно парализовало, дачка, которой она отдавала самозабвенно все свои силы, будто выпила ее соки. Хозяйка любила землю всегда, мечтала о своем клочке ее и вот дорвалась до него, да, видно, перегорела, не рассчитала сил. Никто не помогал ей на грядках и в маленькмо саду, разве что сын. Только и он вечно был занят.

Мать, которая чуть-чуть оклемалась в больнице и начала ходить с палочкой, нелепо выбрасывая правую ногу и болтая непослушной рукой, сын привозил с разной оказией на место трудов ее. Она, побродив по заросшему участку повздыхав, садилась на веранде-палубе и, не стесняясь соседей, горько плакала. Сын тогда мотался по грядкам, пытаясь что-то полить, где-то вырвать сорняки, которые обступили домик, душили участок. Ему хотелось кричать от тоски и боли, видя беспомощность недавно крепкого человека, которого болезнь оторвала от любимого дела.

Сыну было уже за сорок. У него была жена, дочь, которая с зятем и маленьким внуком жили отдельно. Экономист по образованию, он не задержался на основном производстве. Светловолосый, высокий, обаятельный, умеющий со всеми ладить, он был скоро замечен и выдвинут на комсомольскую работу. А потом пошло-поехало, и к сорока его уже избрали секретарем парткома крупного завода союзногозначенения.

Что касается жены, то она состояла в руководстве большой швейной фабрики, вечно считала себя занятой, домой приходила поздно, почти ничего не делая для него. Скоро он смирился со своим состоянием, готовил все сам и даже научился стирать.

Мать, между тем, жила в одиночестве. Несмотря на недуг, она изо всех сил старалась быть независимой. Отовариваясь в магазине для ветеранов, она избегала вкусной и дорогой пищи, органичивая себя самым необходимым. Жилось трудно. Сын давно не был парторгом, не было и самой партии.

Стояло то безответное время, когда толпы безнаказанно сносили памятники бывшим вождям, переименовались улицы, а на главной площади перед Домом правительства все время кто-то объявлял голодовки, отлеживаясь в туристских палатках. Но кое-кто уже голодал и дома, не из-за принципов, а потому что просто не на что было купить привычную пищу. Чуть ли не по тротуарам разъезжали невиданные раньше в здешних краях машины иностранных марок, женщины стали изящны от вынужденной диеты, а девушки отчаянно оголялись не только от тепла, а скорее от дороговизны ткани и одежды, и стали красивее и доступнее.

## II

В трудностях выживания дача для матери и сына оказалась единственным местом, где они отдыхали душой. Мать, несмотря на свою физическую ущербность, трудилась над землей. Она держала тяпку только левой рукой и, приезжая, торопилась к своему любимому абрикосовому дереву и неслышно разговаривала с ним, обращаясь к его кроне почему-то во множественном числе. "Милые вы мои, пить хотите, сейчас, сейчас я вас подпушу, напою, красавицы вы мои". Она была почти уверена, что деревья по ней скучают, по своему плачут и зовут. И видя ее переживания за неухоженность земли, он старался, урывая время, приезжать теперь чаще, и сам с ожесточением вырубал толстые стебли ненужной травы, которая без ухода пускала крепкие корни. Он хотел, чтобы матери меньше осталось работы.

Лето на редкость выдалось ярким. Природа томилась от

избытка влаги и тепла. Земля, как большой только испеченный каравай, глубоко дышала под глубокой синевой неба, заставляя бессознательно волноваться. Он вспоминал студенческие годы, когда ходил с друзьями в горы, и они собирали на берегу бурлящей речушки дикие яблоки и землянику. Эти картины вспыхивали в его памяти, как кадры из почти забытого фильма.

С палубы его дачки открывался великолепный пейзаж с молчаливыми сопками, которые ночами сторожила полная луна, обливаяч спящую землю лимонным светом. Предгорья, которые начинались безлесными холмами, буквально в десятке метров от участка по весне белели подснежниками, вслед за ними тянулись тюльпаны, синие стрелки ирисов. У подножья буйно цвел ничейный урюк. Тропинки, по которым, наверное, раньше бродили овцы, разрезали сопки вдоль и поперек, уводя в ущелья с шумными речушками, заросшими облепихой и барбарисом. Он любил подниматься на соседнюю сопочку и, лежа в траве, смотреть в небо, размышляя в спокойствии.

Он стал больше тянуться к замкнутости и одиночеству. Уйдя с партийного кресла, он как бы расслабился, постепенно отказался от галстуков и белых рубашек, отпустил даже бороду, что ранее было непозволительно. Но щетина с проседью неожиданно омолодила его, придала мужественности. И мало кто, видя его мельком, узнал бы в нем бывшего парторга крупного завода. А ведь раньше его не могли не замечать. С людьми он мог говорить довертильно, с начальством прямолинейно, с трибуны – не особенно заботясь о причесанности выражений. Многим это импонировало и люди тянулись к нему.

Рабочие избрали его на последний партийный союзный съезд. Причем его кандидатура схлестнулась с большой шишкой из обкома, но победил все же он, заводской кандидат. Со стороны это выглядело естественно, все пророчили ему большое будущее. И, наверное, так оно и случилось бы, если бы не ГКЧП и августовский переворот. Он остался без работы, без персональной машины.

Завод со временем стал акционерным обществом, в котором ему не нашлось места. Вспомнили его партийность, не-

давнюю популярность по этой линии, которую, как выяснилось, никогда не прощали.

Теперь он прозябал в некоем агентстве по социальным исследованиям, делал какие-то экономические обобщения, был вхож по инерции к большим людям.

Так что было о чем вспомнить и поразмышлять. Отрешившись от раздумий, он возвращался к жизни и, спускаясь, бросал взгляд над раскинувшую пред ним дачную долину. Вокруг поднимались скелеты домов, копошились, по пляжому одетые, люди, истосковавшиеся по солнцу и смело подставлявшие себя его лучам. Он старался не останавливаться, чтобы не подумали, что он разглядывает их отсюда, с высоты.

Молодые саженцы еще не поднялись, и участки не оделись в зелень. И дачной интимности и уединения не было. Не совсем обычные люди были его соседями: некогда партийные чиновники, в обойме с которыми ему и перепало шесть соток. Дачи строились здесь с изощренным размахом, как бы соревнуясь между собой: с резными застекленными мансардами, бетонными гаражами, мозаикой, дорожками из цветного ракушечника. Дома стояли впритык как кремовые торты на кондитерском прилавке и чем-то напоминали кладбище в Гаванне, где ему пришлось побывать лет десять назад руководителем туристской молодежной группы, так все было чисто и ухожено.

Бывшие партийные чиновники получили хорошие должности в новых министерствах и корпорациях, чье-то незримое око их берегло и лелеяло. Они подкатывали к дачам на госмашинах, правда, некоторые по старой памяти осторожничали, оставляли лимузины на шоссе и шли сквозь ряды кремовых тортов победным пехом или старались подъезжать спозаранку, или в сумерках.

Дачи их почти беспризорного товарищества стояли чуть в стороне и партийцы отгородились от них плотными рядами проволоки и каменными завалами, закрыв все ближние подходы. Поначалу изгои возмущались, писали, но председателя товарищества, шустрого мужика, занятого строительством своих трехэтажных хором, совсем не по-соседки вызвали на партийный ковер и все стихло.

Над дачным городком незримо витал дух соперничества и затаенной недоброжелательности, что раньше не наблюдалось.

Сегодня люди перекрывали друг у друга воду для полива, криком доказывая, что она им нужнее, не забывая бдить за нравственностью соседей. Под шумок кто-то незримый стал грабить, унося нужные вещи и урожай, смело шастая по огородам и садам, заставляя дачников терять уверенность и болеть от каждой пропажи.

Сторож Кеша, молодой тощий мужик, весь в наколках, горький пьяница, не раз битый женой, крепкой толстенькой бабенкой, к основным своим обязанностям относился наплевательски, так как был занят кладкой печей и другими строительными и плотницкими делами, которые хорошо оплачивались.

Но все эти дачные тревоги мать и сын воспринимали как вынужденную нагрузку к празднику, который дарила им природа. Особенно радостно было видеть здесь пробуждение дня. Близкие горы высвечивались мягким спокойным светом. Деревца стояли, словно нарисованные, просматривался каждый листик, цветок или веточка, пахло клубникой, смородиновым листом и поспевающей малиной.

Абрикосовое дерево выделялось, как невеста среди деревенского хоровода, плоды, в лучах солнца еще твердые и бледные, начинали золотиться и казались отлитыми из дорого сплава.

Как бы там не было, но мать и сын считали себя счастливыми, несмотря на ее болезнь и неопределенность его положения.

## III

Привозить мать становилось все труднее. На перекладных автобусах она не смогла бы добраться, а если и добралась, то не доковыляла до дачи два километра по каменистой дороге. Друзья и родственники под разным предлогом отказывали: бензин, как и все вокруг подорожало в десятки и сотни раз.

Однажду ему удалось уговорить дочь с зятем и внуком приехать. Зять молодой, и длинноногий работал в геологической экспедиции, достал "Уазик".

Худо-бедно, они наконец выбрались, соблазнившись рассказами о чистоте горного воздуха и необычном абрикосовом дереве. Хозяин дачи прихватил при такой оказии два мешка со старыми бумагами для растопки. Накануне, порывая с прошлым, он разбирал свой архив.

Они приехали и сразу всех потянуло к дереву. Оно действительно будто светилось, как прима-балерина среди худосочных танцоров.

Солнце только склонялось к полудню, освещая дерево со стороны восхода, будта изнутри, и контуры каждого листка озарялись серебряным ореолом, а сами плоды казались наполненными скрытым жаром и боязно было дотронуться до них и отделить от ветвей, которые пригибались от тяжести. На каждом, даже слабо отростке, абрикосы гнездились кучно, как виноград. Все заохали, глядя на дерево. И мать, и зять, и дочь, и даже маленький внук Коленька прощебетал что-то, выражая радостное удивление.

Дочь сходу наполнила детское ведерко оранжевыми плодами, но ему было жалко разрушать эту гармонию, которая ласкала глаз. Он считал, что абрикосы еще не свосем дозрели и попросил повременить немного, когда плоды окончательно наберут сока и станут крупнее. Мать же предлагала обобрать большую часть сейчас и оставить дозревать в лежке, но он был непреклонен. Дочь, кажется, обиделась или посчитала его жмотом.

Она разделась до купальника, чтобы загореть и с явным неудовольствием отправилась собирать редкую ягоду в густом колючем малиннике. Он тоже на этом настоял – пусть для себя набирает сама. Зять принес из багажника брезент и, расстелив на палубе, завалился спать. Он ночью приехал из командировки. Внук Коленька, путаясь в траве, пытался поймать бабочку. Мать, склонившись над помидорным кустом, окучивала землю одной рукой. Сын подвязывал дикий виноград, опоясавший палубу. Здесь всегда находилась работа.

Так незаметно протянулось время до обеда, когда вдруг их потревожили громкие голоса. Они невольно посмотрели вверх на стоящую впритык сопку. Там маячила пестрая группа человечков, коротеньких и толстеньких, издалека очень по-

хожих на потревоженных пингвинов. Они дружно размахивали руками – "плавниками", бубнили низкими голосами, щебетали по-птичьи и смеялись, бесцеремонно разглядывая людей внизу.

Хозяин абрикосового дерева не знал этих людей. Несмотря на близость участков, их разделял крутой склон. Но своих неожиданных соседей он воспринял как плату за несколько лет покоя. Они начали строиться нынешней весной на самом краю горы. И к началу лета ухитрились отгрохать стены двухэтажного дома, который, как башня нависал над всей дачной долиной. Чтобы строение не сверзилось с покатых склонов, сосед бульдозером сгреб верхний слой земли вместе с ирисами и тюльпанами. И все это в клубах пыли сыпалось на головы поселившихся внизу. Окна и балконы новый хозяин обратил не в сторону гор, не на их любование, как сделал бы любой нормальный человек, а на поднимающиеся внизу дачные кварталы, на их задворки, туалеты, кучи навоза и прочих прелестей. Сосед иногда маячил на господствующей высоте, блестя окулярами мощного бинокля, и рассматривал зады склонявшихся над грядками женщин. У хозяина абрикосвого дерева определилась досадливая неприязнь к этому человеку и он чувствовал себя свободнее, когда тот не торчал на горе.

...Базар на сопке не прекращался, ее новый хозяин все размахивал коротенькими ручками, направляя их то в одну, то в другую сторону. И впрямь – Наполеон перед Ватерлоо.

Дочь почувствовала себя неуютно и пошла одеваться. Коленька хныкал – ему было время спать. Зять тоже зашевелился.

Солнце стояло уже в зените и детям вдруг сразу показалось жарко и скучно и они решили уехать. Коленька не может спать на новом месте. Мать запричитала; надо было возвращаться вместе, и они стали собираться, отказавшись даже от чая. Мать наспех на грядках нарвала зелени и настригла внучке большой букет крупной ромашки с длинными стеблями. Она и виду не показывала, что хотела еще остаться.

Она наказала сыну при поливе обойти абрикосовое дерево: так оно дозреет быстрее и уходя все оглядывалась на него.

## IV

Ему не пришлось долго быть в одиночестве. Зазвенела цепь не железной калитке и нарисовался Кеша.

– Вот вижу машина отошла, а вас нету. Дай, думаю, проведаю. – И он ловко откуда-то из-за спины выдернул бутылку, торжествуя лицом.

Кеша всегда был пьян или с похмелья. За свое дачное творчество он брал с хозяев для разминки бутылку водки: в начале и в конце работы. Сколько она стоила по нынешним временам – его это не волновало.

– Почему я вас уважаю, – доверительно сказал Кеша выпив и уплетая тушенку. – Потому, что вы не брезгуете со мной посидеть, хотя и большой человек. А эти буржуи, сволочи, – кивнул он куда-то в сторону, – не говорят, сюсюкают, а в душе тебя презирают. Все прикидываются, что от сохи в начальство выбились и пьют только по воскресеньям, а сами мотаются по заграницам и сыночков там своих пристраивают.

Кеша, приняв “ударную дозу”, как он выразился, расположился к длительному разговору. Выходить на участок в разгар солнца тоже было не с руки.

– Вот вы мне скажите, кто это рисует все эти цифры и нолики? Совсем оборзели с ценами. Что ни день, то подарочек для трудящихся. Будет ли конец?

– Будет, Кеша, будет. Вот соберем урожай, продадим нефть, накупим разных товаров – глядишь и выправится. – Но он и сам не верил в то, что говорил.

– Товар он и сейчас есть, да весь в “комки” уплывает, прямо со складов. Что эти сопляки с ларями сахар да водку делают? Или бананы выращивают. Я бы их всех, как тараканов...

– Нельзя Кеша, рынок...

– Какой к черту рынок. Спекулянты, дерьмо собачье. Каждая фарца нос задирает выше крыши.

– А что поделаешь, теперь их время – хозяин старался спустить на тормозах неприятную тему.

– А наше где? – горячился Кеша и снова наливал по “чуть-чуть”.

– У меня сосед – дети молока не видела, а сейчас "Тойоту" купил. Ходил ухмылялся. – "Куй горячо, пока Горбачев". А что мне Горбачев? Нас Гитлер пулями не мог взять, а тот без боя сдал.

Что я получил от его долбаной перестройки? Шварцнегера, да голых баб по телевизору? А реклама их для кого? – Кеша смачно сплюнуб в сторону. – Продается лимузин – двадцать семь миллионов! Куплю наличные за безналичные... Требуется обаятельная для состоятельных... Меняю "КамАЗ" на бабу в масле, – передразнил он и зло засмеялся. – Наши девки заграницу косяком прут, а там их, как подстилки. Им дома рожать надо, ведь отборные... Зазывают-то через газеты! А мы привыкли газетам верить, всю жизнь верили...

Кеша был грамотным. За ним значилась десятилетка и два года общего режима за хулиганство. Что он мог ответить ему – бывший парторг разогнанной партии? Понятия о добре и зле переместились, неестественное стало естественным. Сомнительные люди лезли в большую политику. Логикой он понимал неизбежность перемен, но его пугала их сумбурность, непоследовательность и затянувшаяся неуверенность стоящих у власти. Депутатские дебаты перед телекамерами многими воспринимались уже, как надоевшие спектакли, которые не собирали зрителей. Они предпочитали тратить время на поиски способов выживания. Интеллегентные женщины, устав от нищеты, вечерами мыли поли в коммерческих конторах, разрываясь между непривычными для них обязанностями. Кто покрасивее, отбросив стыд, искали богатых спонсоров. Гордые мужики, не способные к бизнесу, держались за свои малооплачиваемые должности, как за спасательный круг, на что-то надеясь.

...Кеша сам себе наливал, звякал о стоящий стакан, чокался. – Я-то что? Я зелени надергаю, картошечка там, яблоки – проживу. А старики как? Пенсии на хлеб едва хватает, лекарств не купишь. Мать недавно на почте в обморок упала; за деньгами стояла. Наличных у них, видите, ли нет...

– Кеша, есть программа социальной защиты...

– Толку-то с нее, губы помазать. Я так думаю, кому-то хорошо, чтобы нам было плохо. Даже дом снести – средства нужны, а развалить такую страну, одного таланта мало, надо

большое желание иметь, целый план, а еще, как его, спонсоров...

Кеша пил и трезвал от высказанного, видно ему становилось легче от того, что его слушают, что мало перебивают. Оговорки хозяина дачи казались ему пустыми и никчемными, он и сам в них не верил. Он, Кеша – личность, видит и понимает жизнь не хуже, а может быть лучше других, потому как к ней ближе. Хозяин дачи, как бывший начальник, скорее всего осторожничает, видно надеется еще на что-то. Такие кипят сегодня на кухнях, перед женами. Кеша, гордясь своим пониманием обстановки, выдал еще один политический момент.

– Вы что думаете, китайцы дураки? Они не стали своей партии голову крутить, а так чуть-чуть гаечки развинчивают, дают дышать. Потому как у них народу – тьма, а с такой дикой демократией, как наша, с ним не справиться. Но у них частник – не спекулянт. Он свой товар продает. Говорят, там с этим строго.

– У них другие условия.

– А что, я разве не прав, – жертвенно кричал Кеша в экстазе.

– Прав, прав, – соглашался хозяин.

Кеша и без него знал, что прав, потому как давно обкатал свои мысли в кругу других дачников и с женой.

– Я так понимаю, что если бы партию хорошенько почистить от паразитов, да разрешить другие организации, то постепенно капитализм подпускать можно.

– Ах, вот ты где, Карла, опять болтаешь че зря?

Кеша не успел закончить и, вздрогнув, сразу как-то обмяк.

Перед ними за палубой стояла, уперев руки в бока, полная загорелая женщина с веселыми глазами.

– Я его ищу голубчика, а он здесь выступает. Люди тебя ждут. Иди погреб копать. – И, вскинув черные глаза, попросила извинения.

Кеша что-то защебетал, как цыпленок, подхватил почти пустую бутылку, сунул ее опять куда-то за спину под рубаху и, пятясь, раскланялся.

– Мы тут за жизнь, все как есть. Разве трезвый правду скажет?

– Знаю я твою правду, – сказала женщина, подталкивая мужа в спину. Уходя, Кешина жена, скосив глаза, стрельнула взглядом по участку и пропела в сторону абрикосового дерева.

– Какое рясное, тысяч на пять потянет.

Когда они удалились, он взял тяпку и нехотя пошел окучивать грядки. Солнце уже медленно склонялось к горизонту. Он вспомнил подробности недавних встреч с другими людьми, споры, слухи и даже отдельные фразы, пытался как-то выстроить их в единую смысловую цепочку, подводя к общему знаменателю, и этот знаменатель только укреплял его сомнения не в пользу того, что считалось официальным здравым смыслом.

Отвлекаясь от монотонности мыслей, он решил полить участок, но воды в трубе не осталось, соседи ее разобрали. Так было не впервой. Он приспособился вставлять в отверстие тонкий резиновый шланг, собирая остатки воды в подставленные ведра. Так он остался с ними до темна, облился, промок и, поеживаясь от вечерней свежести, стал растапливать печь привезенной бумагой и сучьями старых деревьсв, заготовленных загодя в горах.

## V

Поставив чайник и присев на скамеечку, он включил транзистор и неподвижно уставившись на огонь, полыхающий в маленькой печурке, машинально подкладывал бумагу, вываленную из мешка. Под руку попадались черновики его бывших выступлений и статей, исписанные блокноты. Все это было теперь ненужно и никчемно. А ведь когда-то он, грешным делом, рассчитывал обобщить свой партийный опыт. В ворохе смятых бумаг он вдруг наткнулся на коленкоровый блокнот шоколадного цвета с красным флажком на уголке “XXVIII съезд КПСС”. Это была его записная книжка, которую он вел в июле 1990 года будучи делегатом. Он равнодушно перелистал ее, пробегая свой торопливый, плохо разборчивый почерк. И, читая, увлекся. Потом он, пошарив в мешке, обнаружил еще несколько забавных теперь бумаг: запросов, обращений в секретариат, листовок.

Делегатом каждое утро выдавали брошюры стенографических отчетов вчерашних заседаний. Это он все сберег для истории, не выбросил, а вот блокнот как-то залетел в мешок: забыл что-ли или не принял всерьез, хотя здесь-то все и было. Углубившись в него сейчас, через два с половиной года, в дачной тишине, он почти осязаемо понял: то, что творится сегодня в мире и в судьбах многих людей, уже вызревало тогда в июле, два с половиной года назад в духоте жаркого московского лета. Сегодня народ только начинает пожинать плоды предсказанного. А ведь как на съезде захлопывали ораторов, видящих крах системы, как топили дельные мысли в позерской говорильне.

Генсек, он же Президент, спикер парламента, все нынешние обитатели "Матросской тишины", бывший казахстанский лидер из Ульяновска, нынешний руководитель Грузии, Президенты сегодняшних суверенных государств, премьер-министр еще нерасправившегося Союза, пикетчики, напротив Кремля с андреевскими флагами и плакатами "Партию – к ответу!", "Коммунистов в Чернобыль!" – все вдруг высветилось в его памяти.

Тогда ни сам Горбачев, ни съезд, представляющий восемнадцать миллионов, в основе своей все еще крепко стоящих на ногах людей, обладающих влиянием и властью, не представляли предстоящих мистерий разваливающих великую страну. Члены Президиума выходили на сцену уверенной, быстрой и прямой походкой. Он заметил тогда, что было в ней нечто от ходульности – не шли, а двигались. Они играли себя и на сцене, и в кулуарах. Отвечали на шутки, смеялись, говорили воркующими бархатными голосами. Каждый из них манерничал давно, хорошо освоив искусство классового общения: от имени народа навязывать ему же свое мнение, и вовремя опускаться на грунт удобных аквариумов.

И Дворец съездов, в который он впервые вступил, мимо стоящей в два ряда суровой охраны, казался ему таким большим аквариумом, с обитателями разной величины и достоинства, которые на время заключили между собой относительное перемирие, разве что для порядка, изредка напоминая о себе редкими всплесками, затихая под строгим взглядом хозяина.

Он вошел в зал заседаний, как в экран телевизора, и занял в нем свое место. Против его сектора стояла телекамера и, чувствуя, что за ним бдят, что его видят возможно и дома, на него время от времени накатывалось неприятное напряжение, мешающее слушать.

Делегация, в которую он входил, приехала с заданием поддержать Генсека, спасти его от Ельцина, от оппозиции, не допустить развала партии. В кулуарах и при выходе из Никитских ворот кто-то настойчиво совал в руки делегатам листовки и воззвания, где Горбачева обвиняли в некомпетентности, в нетвердости, способности лишь опьянять себя и других потоком утешительных речей, не подкрепленными делами по улучшению людской жизни. В листовках его называли "Кашпировским от политики", умеющим засорять людям мозги избыточными иллюзиями, угождая и "вашим" и "нашим", гася огонь критики с обеих сторон, призывая "правых" примириться с "левыми", консерваторов с радикалами. Такая консолидация разлагает партию и социализм. "Сколько раз, подстраиваясь под большинство, он подставлял вас, коммунистов, под удар, на ходу перестраивая свои взгляды. Неужели вы и впредь будете предаваться гипнозу сладостных фраз и надеяться, что все образуется?" – вопрошали в послании, которое он держал в руках, раздумывая бросить ли его в печь или сохранить для потомков.

Тогда, два с лишним года назад, он, как и многие, отнесся к этим словам, как к окрикам, недовольных людей. Вдали от Москвы они разбирались в раскладе сил, по тому, что слышали по радио и читали в газетах. И даже здесь, в Москве, одиннадцать дней наблюдая изнутри съездовские игры, не будучи великими психологами, люди, воспитанные на замаскированном политическом идиотизме, все еще не раскрепостились от своей партийной зависимости и привычно воспринимали себя переходными винтиками механизма, которым управляют другие. "Исторический" проход Ельцина через весь зал от трибуны съезда, где он отказался от членства в КПСС и направился к выходу, прямой и трезвый, безукоризненно причесанный, в темно-синем с иголочки костюме, рассчитывая на всеобщую их поддержку и понимание – сейчас понимался по-иному. Тогде его никто не поддержал. И не

вышел за ним, как рассчитывалось, хотя тогда в пятитысячном зале Кремлевского Дворца съездов более половины делегатов было от России.

Генсек, помнится, от неожиданности засуетился, но потом взял себя в руки и сказал в микрофон, вроде, раз вышел из партии, пусть сдает съездовский мандат в ревизионную комиссию.

Все пытались сделать вид, что ничего не произошло.

"А ведь произошло, – размышлял хозяин дачи, поддерживая огонь в печурке очередной съездовской бумагой. Ведь и он тогда задумывался на что рассчитывает этот человек? Ведь он вышел из Дворца при немом молчании зала, хотя за его стенами и в ближних проходах стояли пикеты с плакатами в поддержку Ельцина. Да, но их не так уж много, их караулит милиция с рациями, а в соседних кварталах грузовики с набитыми под тентами омоновцами. Съезд надежно стерегут государственные охранники в штатском: ведь каждый делегат от двадцати тысяч коммунистов, а значит от всего советского народа, потому как народ и партия едины. А эти с плакатами, обиженные жизнью, или родственники дисседентов, которые спят и видят Запад. – Так рассуждали во всяком случае его соседи по кремлевскому ряду – чабан, свекловичница, железнодорожник, доярка, люди простые, разумные от природы, гордые оказанным доверием. И им нельзя было думать иначе: руководящую роль партии никто не отменял, а у власти всегда есть недовольные, особенно при перестройках. Так им всем думалось".

...Хозяин дачи заварил крепкого чаю и вышел на палубу. Спать не хотелось. Прохладный ветер ласкал лицо. Был звездный вечер и черный небосвод неба уже засыпало белыми искрами.

Было тихо и спокойно во всем и он осознал свою беззащитность и одиночество. Не слышалось ни единого звука, не виделось близких огней, только вызывающее светились окна его дачки и благоразумнее было выключить свет. Что он и сделал. Хватит огня печи. Постояв так, он пошел снова жечь бумаги.

Ему казалось, что избавившись от них, он как бы облегчит душу и навсегда порвет с прошлым. Если уж ломать, то

круто и надолго, как у нас умеют. Просматривая помятые листки, перед тем как бросить их в огонь, он невольно уходил всем своим существом в те дни, уже казавшиеся такими далекими.

...В конце съезда, в полдень, когда в Георгиевском зале Кремля закончилось голосование за состав ЦК и других органов партии и Горбачеву уже было ясно, что он не потерял своих иозиций, Генсек в сопровождении охраны отправился пешком от места голосования до Дворца съездов. Он сразу же попал в кольцо возбужденных делегатов, шустрых молодых иностранцев из ТВ с длиннющими микрофонами. Нашему герою тоже удалось протиснуться в плотном людском водовороте, и он просунул среди плечей руку с диктофоном. (Отчитываясь потом перед рабочими, избравшими его, он включал эти записи по громкой заводской связи и очень гордился, что у него есть голос Генсека в оригинале, и говорит он то, что слышали немногие, стоящие рядом). Он держал сейчас перед печкой эту расшифрованную запись, три странички машинописного текста.

Помнится, Генсек выглядел уверенно, шутил, охотно отвечал на вопросы, без тени сомнения, даже категорично.

– Вы теперь уже проголосовали, так что можно говорить напрямую. Я специально в своей последней речи решил забивать гвозди напрямую. И если останусь, то буду вести свою позицию, гнуть свою линию...

Голос из толпы: “Вот этого нам и не хватало...”

Горбачев поправился:

– Буду вас организовывать, буду вас сплачивать... Не собираюсь душить, давить, ломать. Хватит семьдесят лет ломали. Да что там, всю историю ломают. Я тоже кое-за что отвечаю. – Слова были отрывистыми, не всегда связанными. – Политикой надо умело пользоваться. Чтобы судить о каких-то вещах, надо знать больше и колокольню выше иметь.

Генсек, как личность, явно выделялся из толпы, хотя вокруг было много симпатичных людей в хороших костюмах. Но в нем чувствовался некий приобретенный политический аристократизм, запрограммированная притягательность, заставляющая людей слушать его. Хотя все они представляли аудиторию в нескольких поколениях, пораженную культовым

синдромом, у которой выработался свой патологический тип мышления. Они внимали каждому слову лидера, потому что привыкли подчиняться. Трибунная независимость съездовских ораторов представлялась теперь игрой, которую нельзя было не принять.

Кто-то из толпы демократично спросил в лоб:

– Когда вы в стране порядок наведете, Михаил Сергеевич?

– Вы хотите, чтобы я ехал наводить к вам порядок? А вы на что сидите? – и Генсек начал вспоминать, как на Ставрополье разгулялась преступность и они, партийцы, поменяв верхушку коррумпированной милиции, вместе с рабочими за один месяц взяли ситуацию в свои руки.

Прошлись и по Ельцину:

– Я думаю, он оплачивает политические векселя. Он рассчитывал, что за ним ползала уйдет, а получилась – спина...

– Пора кончать с этим! – воскликнули из толпы верноподдано.

– Не понимающих надо менять. Я говорил о трех годах, а уже пять прошло. Кто хотел, уже перестроился. Мы дали время. – Генсек не просто говорил. Он работал и эти беседы для него были не менее важны, чем выступления с трибуны.

Возможно в какое-то время сомнения и не оставляли его. Ведь говорили же, говорили о двоевластии. В упор вопрос ставили. Разумно ли Генеральному быть еще и Президентом? Почва слегка покачивалась. Но какая-то неведомая сила незримо и уверенно, несмотря на противников и сомневающихся, выпрямляла ее, ставила делегатов на свое место. Внутренне сомневаясь, многие из них привычно склонялись к большинству и дружно голосовали, поглядывая на руководителей своих делегаций. Дома могли быть неприятности.

– Мы встретились как-то с Шеварнадзе на юге, – откровенничал Генсек. И решили, что-то надо делать. Все прогнило, надо спасать социализм. А в это время вводили войска в Афганистан и мы, два кандидата в Члены Политбюро, не знали об этом, – досадовал Горбачев.

Ему сочувствовали, советовали отдохнуть после съездовских волнений.

– Я так думаю, – умиротворенно говорил Генсек, года на

два, на три нас хватит, а дальше свежие силы надо вводить, вводить и вводить. А потом само пойдет...

Он явно лукавил.

Но как ему было не верить!

...Отправляя в прожорливую печурку листок за листком, хозяин дачки уже не вчитывался в ненужные теперь бумаги, а лишь выхватывал отдельные строчки:

Ельцин: "Здесь решается судьба только верхних эшелонов власти КПСС, а не рядовых ее членов".

Шеварнадзе: "Нет смысла защищать разрушенную страну".

"У нас сегодня никто не трудится – от рабочего до члена правительства".

"Мы закрасили в черный цвет всю нашу историю. Как им нас уважать, если мы сами себя не уважаем?"

...За окном где-то близко забрехала собака. Хозяин дачки как бы очнулся от оцепенения. Отодвинул от светящейся печурки бумаги, прикрыл дверцу, глянул на часы. Было без четверти два.

"Однако, – удивился он, – разобрало меня на воспоминания. А ведь вроде был провал, никто не вспоминает об этом съезде, а вот на тебе, разобрало".

Он разделся в темноте, чтобы не привлекать дурного глаза и, поеживаясь, полез под холодное одеяло.

## VI

Было тихо и лунно. Но сон не шел к нему. Ночь будто издевалась. Что это, ностальгия по прошлому? Но нормальный человек, чтобы выжить должен жить настоящим, прикидывать на будущее, а не копаться в том, что прошло. Но если какой-то личности угодно прошлое, и пусть оно великая тайна, богатство, целый мир – кому до этого дело? И если мы кого и стараемся понять, то каждый видит лишь ту сторону, которую хотят, чтобы в нем видели. Нам преподносят программу – и мы ее усваиваем, одобряем, хотя, быть может, внутренне и отрицаем, гася свою непокорность. Это что? Дипломатия? Внутренняя цензура или еще черт знает как все это назвать? Тот же съезд с его плохо скрываемой помпезно-

стью (никаких подношений, ярких красок, даже в оформлении сцены красный цвет заменили на приглушенный, каких-то свекольных тонов), можно было оценить изнутри, если хорошо посмотреть. Сколько обыденности в этих людях, от имени которых верхушка разыгрывала свои карты. Но ведь если подумать, они партийная элита и представляют миллионы других, доверяющих им, в больших и малых городах, поселочках, хуторках и аулах, население которых, если не верило, то во всяком случае надеялось на некоторую судьбоносность их решений, которые, дай бог, облегчат им жизнь.

А может быть Ельцин прав?

Скрытая раздвоенная сила витала в воздухе. Партийный патриотизм давал о себе знать. Делегат из затерянной в лесах автономии требовал через микрофон призвать к ответственности своего коллегу из Ленинграда, который не слушает выступлений и читает газеты. Другой требовал опубликовать в "Правде" фамилии делегатов, не принимавших участие в голосовании. Три дня, крепкий в кости молодой мужчина, по виду горняк, залетевший в Президиум, как водится, по сословной разнарядке, откровенно дремал на виду всего съезда, подставляя под голову то одну, то другую руку, чаще скашиваясь в сторону другого члена Президиума – восточной женщины.

Наконец, кто-то из доброжелателей не вытерпел и выступил с требованием разбудить "постоянно спящего члена Президиума во втором ряду справа".

То ли мужику было все равно, где он сидит, то ли он был с большого "бодуна". – Он и ухом не повел и, недовольно подняв голову, вскоре опять принял прежнюю позу.

Для того, чтобы расслабиться в гостинице "Москва", где остановились делегации, были все условия. Официаты в ресторане обслуживали молниеносно. Подавалась импортная водка по дешевой цене, которая сегодня и не снилась. У номенклатуры в столице было множество связей и знакомых, в том числе женщин. Делегаты от народа, редко бывавшие в столице, или впервые посетившие ее, устраивали свои праздники. Веским поводом были дни рождения. На утренних заседаниях в некоторых делегациях ощущались потери, хотя и незначительные. Дни стояли душные, дождливые и аккклима-

тизация проходила тяжело. Кому-то вызывали "скорую".

...В перерыве между заседаниями все торопились по эскалатору на верхний этаж в буфет, похожий на огромный вокзальный зал, где рядами стояли бесчисленные столы, покрытые белыми скатертями. Проворные подтянутые официанты с военной выправкой подавали бутерброды из серврюги с икрой, ветчину, холодную курятину, свежие овощи, фрукты и другую вкусную пищу, неумело манипулируя с калькуляторами. Неизбалованные деликатесами, делегаты из глубинок по привычке набивали в несколько заходов вкусной заначкой кейсы и целофановые пакеты. Идущий вниз экскалатор тяжелел на несколько тонн. И если бы на нем стоял счетчик, а он, очевидно, и был, то разницу в нагрузке можно было очень просто вычислить.

Советская действительность не менялась в существе и на своем Олимпе.

Пока умиротворенные делегаты откровенно переваривали пищу, генерал из государственной охраны, из ложи нависшей над первыми рядами партера, горным орлом, обзирал отведенный ему для контроля сектор зала.

Все шло своим чередом. Ораторы надрываясь, пердостерегали, что партия проигрывает власть, что перестройке нужны новые вожди, но "Миша", так для краткости стали обозначать Генсека в его делегации, казалось, не обращал на эту суету особого внимания. Он поднимался и неожиданно уходил из Президиума и также неожиданно появлялся. Он чувствовал себя хозяином всего этого огромного зала, заполненнего под завязку, людьми из далеких и близких уголков великой страны, хозяином и самой страны и, казалось, он пропускал мимо ушей заявления оппозиции о "социальном Чернобыле", о потере партией чувства собственного достоинства. В кулуарах все откровеннее говорили о заговоре генералитета, готового захватить власть, и некоторые корреспонденты торопились сообщать эту сенсацию в свои редакции.

Делегация Азербайджана сидела рядом, справа от сцены под "крышей" государственного охранника, армян предусмотрительно разместили в противоположной стороне в конце зала. И эти две группы ухитрялись пикироваться через зал, без микрофонов. И в этой неинтеллигентной перепалке, вполне

интеллигентных, с иголочки одетых людей, азартно взрывались всполохи плохо скрываемой неприязни. Можно было бы списать все на издержки кавказского темперамента. Но скрытый пожар уже разгорался. На съезде вынуждены были робко признать, что "некоторые народы не вынесли испытания на интернационализм".

Все вылилось чуть позже: кровь и насилие в Закавказье, опреточные перевороты, танки на улицах Москвы. Огромную страну разделили, как слоеный пирог, не в состоянии поменять начинки – и предсказанное умными головами, оказалось очевидным. Миллионы людей свалились в непонятное будущее и попали, не пятясь, как кролики, в пасть удава.

...Съезд закрывали пением "Интернационала", как в добрые времена. Динамики бодро вещали партийный гимн, напетый хорошо отлаженными голосами, и все под крышей Дворца съездов, стоя открывали рты, плохо зная слова – и "Миша", и члены Политбюро, и Президиум, и весь зал:

*"Вставай проклятьем заклейменный*
*Весь мир голодных и рабов..."*

Господи, сколько раз он испытывал неловкость, вдумываясь в эти ритуальные, потерявшие смысл слова. Где эти голодные и рабы?

Перед ним стояли сытые, внешне уверенные в себе люди, уверенные в своей непогрешимости и способности надолго сохранить власть.

Кто бы мог подумать, что ровно через год не будет ни партии, ни Союза Советских Социалистических Республик, просуществовавшего семь десятилетий, а имя Генсека станет непопулярным в стране.

## VII

Проснулся он, как и следовало ожидать, поздно, и заторопился. Солнце стояло уже высоко, небо высветилось. Абрикосовое дерево стало еще наряднее, из желтого цвет переходил в оранжевый, поспевало. Он сорвал несколько спелых плодов на завтрак, предвкушая большой урожая и радость,

которую он всем принесет, как первая отдача земли.

Закрыв на ключ дачку и калитку, он быстрым шагом пошел мимо "кремовых тортов" к остановке. На одном из них, на коньке крыши сидел Кеша и тюкал топором, как дятел. Он приветствовал хозяина, улыбаясь радостно.

На остановке было пусто. Только пожилой казах с нагрудными планочками на сером поношенном пиджачке сидел под навесом на цементной скамеечке и, задумавшись, смотрел на желтеющее впереди поле. Ветераны теперь при регалиях, чтобы контролеры не докучали – прикинул он и, поздоровавшись, тоже присел. Так они промолчали с четверть часа, а автобуса все не было.

Он вставал и нетерпеливо вглядывался в сиреневую ленту асфальта, которая, поднимаясь на пригорок, была далеко видна.

– Нет порядка, нет порядка, – проворчал старик, ни к кому не обращаясь. – А мы, как кролики, испытывают наше терпение... А сколько можно терпеть?

И повернувшись к соседу, он стал загибать пальцы:

– В тридцатые годы – великий джут. Скот отобрали – народ вымирал, весной в степи – траву ели. А потом – война.. Меня контузило под Москвой. Здесь семья – спину гнула. А сейчас пенсию не могу получить. Вчера на почте стоял - денег не хватило...

– Да, трудные времена, – дипломатично согласился хозяин дачки.

Стали подходить новые люди. Все больше проворные шустрые старушки. Матери и родственники бывшей номенклатуры. Это тоже был особый контингент, который все и вся знал и ничего не боялся. Они сходу начали поносить правительство, новое руководство, которое развалило страну до такой степени, что перестали ходить автобусы.

Где-то через час машина все-таки подкатила и все благополучно устроились: остановка была почти конечной. Юркий шофер, черный как грач, не трогал с места, пока не собрал деньги. Цены опять подскочили вдвое, и расплачивались красненькими. Пенсионеры начали размахивать своими книжечками, а водитель заявил, что все эти бумажки ему нипочем, что рейс коммерческий, бензин подорожал и сегодня не воскресенье.

– Садама Хусейна на тебя нет, – сказал, как выругался старик в сером пиджачке.

– Что мне твой битый Хусейн, он войну проиграл, – огрызнулся шофер.

– Проиграл войну, но не политику, – не сдавался ветеран.

Но тут встряли старушки:

– А мы давно ее проиграли, Ведь кто нами верховодит? Не успел в город перебраться – плюх в партийное кресло. А у них отбор – аристократы, принцы разные, миллионеры, да не с барахолки, как у нас, а в несколько поколений...

– Это уж точно. Деревенские у нас половчее... А своих принцев мы вырезали, по тюрьмам сгноили.

– Интеллигенция обленилась, самолюбия не стало.

– Не обленилась, а от страха не избавилась.

– Боятся потерять кость, которую бросили.

– Это все деньги людей портят. Раньше только жулики жили не на зарплату, а сейчас честный человек своей пенсии стыдится...

– А кто вам мешает крутиться? Займитесь бартером. Малину – на сахар. Хорошо пойдет.

– Часы – на трусы, трусы – на майку, майку – на пайку, а пайку съел, – и снова голый – подхватил какой-то шутник.

– Нет уж, кто честно работал, ловчить не научился. А по ком раньше решетка плакала – теперь процветает.

– Не скажите. Вон пацаны бизнесом занялись, миллионы делают. Какая тут решетка?

– Знаем мы этих пацанов, чьи они дети – родственники. За них папаши все решают, у кого кресла удобные. А пацаны так, подставные утки...

– Ах, перестаньте! Это новые люди, они учатся жить поновому.

– Знаем кто и где учится. Моему внуку никогда не выбраться за границу.

– А что ему делать за границей? Он поди и государственного языка-то не знает. Вернется – с кем он будет здесь объясняться?

– С кем мы объяснялись – с тем и он будет.

– Нет уж, мы ваш язык изучали, теперь – ваша очередь.

– А зачем он мне на старости-то?

– Чтобы загладить свою вину.

– Какую вину? У меня тоже отца расстреляли.

Разговор становился крутым и нежелательным. Автобус весело катил по хорошему асфальту. Дачные массивы заканчивались. Салон наполнялся людьми, голоса стали глохнуть в общей сутолоке.

Спорящие вдруг задумались, и тупо уставились в окна, а молоденький милиционер, который недавно вошел, торопливо соскочил на следующей остановке.

Автобусная перепалка снова вернула его мысли на круги своя. Он вспомнил вдруг, как один из ораторов в бело-голубом Свердловском зале Московского Кремля, где заседала секция съезда по национальным делам, заявил, что "этот вопрос будет существовать на земле пока светит солнце" и обранил даже термин "национал-карьеристы".

У оратора, видимо, были на то основания. У представителей всех республик были веские доводы говорить о несправедливости в прошлом. Но все эти проблемы невозможно было решить только от имени того или иного народа. Если бы люди хорошо зарабатывали, жили в достатке, были всем обеспечены – самые злые из них не смогли бы подбить своих соотечественников ни на какие распри. Бедность порождает подозрение. Одни считали, что все вывозят в Россию, а другие, что местные все прячут для своих. Так удобнее всего посеять вражду. Люди всех национальностей должны иметь фактическое, а не бумажное равенство.

"А вот эти, пожалуй, уже имеют", – подумал он, глядя в окно.

Пробегали утопающие в садах дома пригородного села. Перед калитками на скамеечках стояли большие банки с молоком, ведра с яблоками и грушами, низкие столики с розовыми кусками свежего мяса, выставленными для продажи. Мелькнула квасная бочка с надписью мелом "Вино", потом ящики с пивом, китайские целофанновые мешки с сахаром, канистры с бензином... Все это на несколько километров тянулось вдоль гранитных бордюров трассы на самых видных местах.

На мешках и канистрах были намалеваны трехзначные и четырехзначные цифры. Еще месяц назад эти цены показа-

лись бы дикими. Но сегодня они уже никого не удивляли. Не удивляло и то, что всего этого выставленного товара не было ни в магазинах, ни на заправках. Дефицит в изобилии торчал прямо на дороге – бери – не хочу. Продавцу или перекупщику было все равно, кого он обирает, какую национальность.

## VIII

В агентстве он молча и терпеливо делал свое не совсем интересное дело, надеясь, что со временем все образуется. Но дни шли за днями – а вокруг ничего не менялось. Жизнь становилась дороже и труднее. Нет, в коммерсанты он не пойдет и в предприниматели тоже, зачем ломать себя, не его это закалка. Но оставаться самим собой становилось все более непозволительной роскошью. Вся его прежняя жизнь как бы выбилась из своего русла, разлилась, раздробилась на множество забот, потеряв силу. Его терзала уже не столь осознанная потерянность прожитого, сколько удивительная способность когда-то окружающих его приспосабливаться, менять свои убеждения и веру. Рьяные пропагандисты атеизма становились набожными людьми, бывшие цензоры превратились в ревнителей демократии. Так когда же они были честны – тогда или теперь? И можно ли верить сегодня им, как представителям власти?

Иногда в монотонности его службы появлялись и приятные эпизоды, как например, сегодня. Ему поручили повозить фирмачей из далекой восточной страны, показать им город, надеясь на его давний опыт. Будучи парторгом, он не раз принимал больших гостей из столицы бывшего СССР. Тогда было принято принимать их еще  и обязательно на природе, с закуской и выпивкой на траве.

И теперь он собрался к фирмачам с особой тщательностью. Одел новый джинсовый костюм, красную фланелевую рубаху в черную клетку, долго подстригал у зеркала свою рыжую с проседью бороденку.

Для гостей, двух молодых арабов с переводчицей была заказана на целый день "Волга". Машина рано утром подкатила к его дому и он уже было вышел, но телефонный звонок заставил его вернуться.

Мать срывающимся голосом сообщала, что соседка по даче передала ей, что тот мужик с горы перелез на их участок, поставил их лестницу и подключил кабель к их электропроводке. Она требовала сейчас же поехать туда и разобраться. Мать сильно волновалась, а это было ей вредно.

Он пообещал разобраться и сам разнервничался.

Почти целый день он возил арабов, показывал им высокогорный каток Медео, и в порыве душевной щедрости, купив дорого с рук у старухи под магазином бутылку водки, завез их аж на самый Чимбулак, известную горно-лыжную базу. Давно он не был близко у снежных вершин, среди высоченных тяньшанских елей. Под ногами полыхали яркие цветы, мелькали крупные бабочки.

Один из гостей, разомлев от угощения и радующей глаз красоты, забыв про дипломатическую сдержанность, положил провожатому руку на плечо: "Здесь хорошо, там – плохо" – и показал вниз на город. – Как вы там живете?". Поначалу он не придал значения словам гостя.

Горы успокоили, придав ощущение постоянства и стабильности.

На прощание они подарили ему блок "Мальборо".

Проводив до гостиницы иностранцев, у него оставалось еще время, сделав крюк, заскочить на дачку, разобраться что к чему. По дороге ему вдруг пришло в голову, что презентованные сигареты стоят чуть ли не всю его месячную зарплату и он осознал унизительность своего нынешнего положения.

"А ну их с их сочувствием! У них все равно нет того, что есть у нас", – с бывалым патриотизмом утешал он себя, подъезжая к даче.

Открывая калитку, он всегда испытывал некоторое волнение и беспокойство, как всякий хозяин, оставивший дорогое ему без присмотра. Но вроде все тихо, лестница также валялась в траве. На горе "пингвинов" не было движения и, следовательно, выяснять отношения не с кем, с облегчением вздохнул он.

Шагнув из-за угла дачки, он не сразу понял, что произошло, будто стало как-то сумрачнее. Он поднял глаза и обмер. На абрикосовом дереве ничего не было. Вообще ничего. Ни

одного оранжевого пятнышка. Оно стояло голым, ободранным, сиротливым, словно растерянная женщина. Ни одной абрикосинки в ее потрепанной кроне.

У него поначалу зашлось сердце и мрачность навалилась на душу. Он чувствовал себя разбитым и униженным, будто над ним совершили насилие. "Сволочи, сволочи, – чуть не плача твердил он, шаря руками в примятой траве, – даже не трясли, так аккуратненько все собрали. В темноте этого не сделаешь. Да и второпях тоже. Но кто? Кто? Соседи? Кеша? Пингвины? Вправе ли он обвинять кого-либо?"

Первым делом ему захотелось куда-то двигаться, сообщить, заявить. Но придя в себя, он понял, что никуда не пойдет. Некому жаловаться на этой земле. Дачи грабили в разных местах и по-крупному. Уносили даже дверные косяки и оконные проемы. Перекрашивали и пускали в дело. А в огороде давно чистили как свои. А тут какое-то абрикосовое дерево! Да еще молодое. Ну посочувствуют, в лучшем случае протокол составят, но искать не станут. "Вещьдоков" здесь нет. На сотнях участков растут абрикосовые деревья. Саженцы то с машин продавали. Искать правду у председателя товарищества? Этот занят своими хоромами. Плевать ему на дачников, даром что деньги получает.

Остается тольок мины самодельные закладывать. Писали где-то подорвался пацан на мине. Хозяина осудили. Может тоже он от отчаянья, а жалобство приписали. Вот так пахал, пахал, душу вкладывал, внуков хотел обрадовать, а какая-то сволочь пришла и обгадила, все смяла и растоптала... Сволочи, ведь не сады обирают, а нашу радость крадут.

Так он гневался, машинально дергая с грядки укроп, лук и прочую зелень: не возвращаться же с дачи пустым.

Шофер, поджидавший его, увидев бледность, поинтересовался: "Что-нибудь случилось?"

– Полный порядок, – ответил он, и всю дорогу промолчал до города.

Дома он бросил пакет с зеленью у холодильника. Жена в халатике, уставившись в телевизор, пила чай, не повернув головы в его сторону.

Очень уж она была принципиальная. Раз дача не ее, а его с мамочкой, так пусть они подаваятся своими урожаями, а

она обойдется базаром, заявила как-то она. Он обозвал ее дурой. Между ними с постепенной надежностью неотвратимо нарастала полоса отчуждения. Хотя все живое в трудные времена сплачивает людей, а здесь наоборот.

...Он позвонил матери и сказал, что сегодня он не смог выбраться, а поедет на дачу завтра и перед этим зайдет обязательно.

Спать он устроился на диване и, скосив глаза к телевизору, вздравгивал в дреме, возвращаясь к абрикосовому дереву. К чувству уязвленного самолюбия примешивалась тревога за мать. Как она все это воспримет?

## IX

Утром он пошел к ней. Мать жила в затененной комнатке на втором этаже старого кирпичного дома. Больная ухитрялась справляться по хозяйству сама, изредка прибегая к помощи соседей. Продуктами он помогал. Вот и сейчас прихватил молока и свежего хлеба. В то утро мать сосредоточенно досматривала зарубежный телесериал "Богатые тоже плачут", которым болела тогда большая часть населения бывшего СССР. Он окрестил этот фильм на свой лад – "Горбатые тоже скачут".

Сын не стал ей мешать и, сатараясь не греметь, подставив табурет, стал шариться в верхней нише коридора. Наконец, он нашел, что искал, – тяжелый чехол с разобранной двухстволкой, оставшейся еще от умершего отчима. Здесь был и патронташ, почти полный. Он спрятал оружие в большую хозяйственную сумку.

Сын не стал тянуть время, торопясь на автобус. Мать наказывала, чтобы он взял ведро и привез абрикосов, только самых спелых, а недозревшие пусть он тоже оберет и разложит, дойдут. Будет оказия, она сама приедет и сварит варенье прямо там, чтобы не таскаться зря.

Она стояла перед ним, как бы увядшая от долгого пребывания в помещении. В ее усохшем лице и запавших глазах таилось такое невыносимое отчаяние и печаль за свою беспомощность, что она не может, как прежде спозаранку поехать к своей земле и ухаживать за ней, и в то же время

светилась такая надежда и любовь к сыну, что у него сжалось сердце.

Он пообещал сделать как она сказала. И подумал: "Куплю где-нибудь полное ведро этих абрикосов".

По дороге он заскочил в гастроном в винный отдел. Толпа шумела, а продавцы что-то передвигали. Постояв, он попытался вмешаться, но молодой грузчик с толстой джинсовой задницей и тонкой талией важно объявил: "Не видишь, идет реконструкция". Никто не обращал внимания на притихших покупателей, и всяк занимался своим делом. Наконец продавщица повернулась к нему и зло сказала: "Ты что грамотный? Иди свою жену учи. Не за хлебом пришел!" О, как они чувствовали свою правоту эти наглые бабенки из винных отделов. Он взял бутылку какой-то перцовки, которая показалась ему дешевле по нынешним временам, да и надежнее, если вспомнить прошлое.

С пересадками он добрался до остановки на дачный автобус, хотя раньше маршрут проходил через весь город, можно было сесть около дома.

На остановке было тьма народу. В основном подвижные востроносые старухи и степенные седые пенсионеры: в воскресенье проезд для них был бесплатным. Толпа наэлектризовалась от ожидания и вылезла уже на проезжую часть. Все ринулись в подкативший автобус и его тоже потащили. Какая-то бабка вцепилась в его сумку и вопила: "Куда прешь, морду наел!" Его буквально внесли в салон вместе с бабкой. А она все кричала и взывала к окружающим, что такой холеный крепкий мужик не уступает пенсионерам. Водитель стоял в проеме кабины, наблюдая за посадкой, и интеллигентно ухмылялся. "Черт знает что!" – сокрушался он, торча на одной ноге из-за тесноты, как цапля в болоте, – не признают во мне пассажира общественного транспорта".

На дачном массиве в разных его концах шевелились люди, мелькали косынки и загорелые спины, смеялись дети. Вид пустого абрикосового дерева тупым толчком отдался в его сердце. Он привычно обошел участок, шкоды и воровства больше не было. Солнце палило во всю.

Нагретая земля потрескалась и покрылась белой коркой. Воды в трубе осталось мало, ужс разобрали: надо было сно-

ва ждать пока управятся соседи. Но он откупорив перцовку, опрокинул четверть стакана. И снова расстроился. Напиток резко отдавал резиной. Это был подкрашенный разведенный спирт плохого качества. На этикетке значилось некое малое предприятие. Все тот же беспредел. А потом опять пошел поливать ведрами.

На горке в "пингвиньем" доме происходило какое-то движенье. Но сегодня, видно, не работали, гуляли, прорывались голоса и музыка.

*Спасибо Горбачеву,*
*Спасибо Ельцину:*
*Не работала ни дня –*
*Получаю пенсию...*

– поорали оттуда частушку.

*В СССРе я жила и на рубль сыта была,*
*В СНГе я нахожусь,*
*Я голодна спать ложусь.*

"Это вы-то голодные, – усмехнулся он. Тот кто на зарплату, сейчас стройку не потянет. Каждый гвоздь золотым обернется".

Хозяин дачки почти не сомневался, что глумление над абрикосовым деревом это дело их рук, но такие не понимают слов. Они любят только себя. При любой власти они ловчили, а сегодня стали сами собой. Им и приспосабливаться не надо. Это их праздник.

Развивая мысль о приспособлении, он вспомнил, как за несколько месяцев до августовского путча его вызвали на "ковер" в Москву, сначала в его родное министерство, потом в ЦК КПСС на Старую площадь. После съезда, уверовав в необходимость перемен, он категорически выступил против какого-то глупого очередного почина, который отвлекал людей от главной работы и написал искреннее, как ему казалось, письмо в верха. Ему дали накачку в Москве в министерстве, а потом передали приглашение партийного куратора посетить Старую площадь.

Часовой из войск КГБ долго крутил его партбилет, проверяя уплату членских взносов. Помнится, поразил крохотный размер комнатки, где восседал их всесильный партийный босс. Большой стол с приставкой занимали почти все помещение. За столом сидела серая личность в потертом костюмчике, с большими ушами, эдакий гоголевский тип. Перед этим человеком, когда он приезжал на завод, гнули спины не только директор, но и республиканские руководители. Тип сурово отчитал гостя за нарушение партийной дисциплины и тут же, не стесняясь, позвонил по "кремлевке" его министру и сказал, что упрямцы им не нужны. "Вы свободны, – сурово сказал ушастый, а он так и не поняв зачем его вызвали за тысячи километров, вежливо раскланялся".

Ему пришлось осознать партийное коварство, вернувшись в министерство. Его сразу же вызвали к начальству и дали указание в трехдневный срок подготовить для КПСС отчет о проделанной работе по данному вопросу. "Но помилуйте, это же невозможно", – пытался возразить он.

Был пасмурный московский зимний вечер. За окном вьюжила метель. У него не было билета на самолет и оставалась куча незавершенных дел по заводу.

– И учтите, – назидательно сказал большой чиновник, – со Старой площадью шутки плохи. От нее нигде не скроешься. Даже в Израиле".

"Причем тут Израиль", – чертыхался он и уехал. Конечно, не сразу. Дурацкий отчет, который занял немало времени и нервов, все-таки пришлось писать. Он был уверен, что никто не читал этих бумаг. Его просто ставили на место.

Мог ли он тогда поверить, что всесилье Старой площади скоро рухнет и отпадет необходимость возносить похвалу глупости?

...Солнце скатывалось к западу, горизонт наклонялся, когда в трубе зажурчала вода и можно было подключить длинный шланг. Он теперь мог полить деревья, где уже вызревали яблони. Особенно одно, раннее – "Белый налив" – уже совсем зарозовело. "Уж его то я никому не отдам, – твердо решил хозяин дачки. Пусть хоть яблоками дети порадуются".

Он провозился до темна.

Смотав шланг и умывшись, он включил транзистор и принялся готовить ужин: чистил картошку, подогревал консервы.

По радио передавали о столкновениях в Закавказье. Он был как-то в Сухуми во время отдыха на Черном море. От этого солнечного уголка, от влажного воздуха, пропитанного морем, обилия разных товаров в мелких лавчонках, окружения жизнерадостных людей у него навсегда осталось ощущение тепла, радости и света. Теперь там лилась кровь. Разве можно пробудить у людей ненависть друг к другу ни с того, ни с сего? И не была ли вся их жизнь только зловещей игрой в дружбу на все времена? И все вокруг притворялись. Об этом не хотелось даже думать.

Что матерям толку от всех этих преобразований, если гибнут их сыновья?

После ужина он выпил еще перцовки и, не раздеваясь, прилег на раскладушку. Засыпая, он слышал как прокричала сова-сплюшка, которая гнездилась где-то повыше в древесных зарослях.

## X

Он проснулся от шума ветра, стегающего резкими порывами. Тонкая жесть на крыше позвякивала. Так здесь случалось, когда теплый воздух из нагретой за день долины и холодное дыхание близких ледников схлестывались в предгорьях, порождая волнение в атмосфере. Иногда ветер был столь велик, что срывая шифер с недостроенных домов, унося белые листы на чужие участки.

Он лежал не шевелясь, с восторгом прислушиваясь к буйству в природе, удивляясь его неожиданности. Он знал, что после ночной бури, как всегда, утром наступит умиротворяющая благодатная тишина и все замрет на восходе солнца.

Он предвкушал скорый рассвет, который принесет ему короткий праздник души, способный на время избавить его от внутренних терзаний и навязчивых мыслей.

Но что-то не давало ему быть спокойным. Среди порывов ветра ему послышались вдруг посторонние звуки. Он подошел к окну и прислушался. Кажется, хрустнула ветка. Сердце его замерло, а потом начало бешено биться в грудной клет-

ке. Он явственно услышал чьи-то голоса. Припав к зарешетчатому окну и вглядываясь в темноту листвы, облитой лунным светом, он ясно различил мелькнувшие фигуры с ведрами в руках. Потом послышался треск ветвей и кто-то выругался. Пришли-таки по его яблоню.

Он бросился к двери, повернул щеколду, но дверь не открывалась. Он налег со своего плеча, но почувствовал с той стороны надежный упор. Он отстранился, насколько позволял тесный коридорчик и сразлету ударил дверь ногой – она не поддавалась.

Хозяин бросился к окну и прокричал в форточку: "Сволочи, я все вижу! Я сейчас стрелять буду...".

Ветер на мгновенье стих, было тихо и он явственно услышал: "Ты, придурок, сиди пока цел! Из хрена что ли стрелять будешь?" – И продолжали греметь ведрами.

Он бросился от окна, нащупал под раскладушкой чехол с ружьем и трясущими руками стал прилаживать ствол к прикладу. Это у него получилось по опыту прежней жизни. Потом вложил в стволы два заряда-картечь или дробь, что попало и снова кинулся к окну и приоткрыл створку. "Я стрелять буду!" – опять прокричал он. В ответ по темноте зарослей последовало какое-то движение и на него со звоном посыпались осколки стекла. Камень, ударившись об решетку, упал на палубу.

И тогда он выстрелил в темноту. Раз, другой, потом снова перезарядил и опять нажимал на курок. Комнатка наполнилась кислым запахом пороха. А он все стрелял. Не видя цели, а в какую-то неосязаемую большую мишень, будто в общее ненавистное зло, сковавшее его сердце. И ему хотелось освободиться от этих оков. За окном раздались какие-то крики, проклятья, треск кустарника, потом ветер смешал все звуки, по крыше забарабанило, сначала редко и глухо, потом все звонче и чаще, и он понял, что пошел град.

Он еще немного постоял, замирая и прислушиваясь, но непогода шумела все сильнее. Он налил в стакан перцовки и выпил залпом, не почувствовав вкуса. Потом сидел на раскладушке и не заметил как опорожнил бутылку и заснул.

...И приснилось ему, будто он оказался в большом мраморном зале, среди множества официальных гостей. И вро-

де у него в руке тоже был какой-то билет, и он никак не мог найти себе места. И кэгэбэшники посылали его от раздевалки к раздевалке. И потом вдруг в большом фойе Генсек Михаил Сергеевич с женой Раисой Максимовной, расступившись, среди приглашенных, повернулся к нему. “Вы нас обижаете”, – сказал Генсек. А Раиса Максимовна, положив ему руку на плечо, добавила доверительно: “Мы вас непременно ждем к завтраку” – и ласково коснулась его плеча.

...Кто-то не отпускал его плечо, и он проснулся.

Его трясли довольно настойчиво. Разлепив глаза, он увидел перед собой молоденького милицейского лейтенанта и Кешу с застенчивым интересом на лице.

“Собирайтесь, гражданин”, – вежливо сказал лейтенант.

Он сразу все вспомнил, будто вспышка молнии высвятила память, и стал молча собираться. Пока лейтенантик возился с ружьем, он мельком глянул в зеркало: вид у него был действительно криминальный. У калитки их поджидал милицейский “газик” и несколько любопытных соседей.

...Солнце только всходило, высветив верхушки сопок и кирпичный дом-башню наверху. Он видел, как из башни вышел “пингвин” в трусах и стоял, растопырив ноги и позевывая. Он, кажется, улыбался.

* * *

...Кто-то из соседей, спозаранку, возвращаясь в город, позвонил матери и сообщил, что ее сыночек то ли кого-то убил, то ли кого-то ранил.

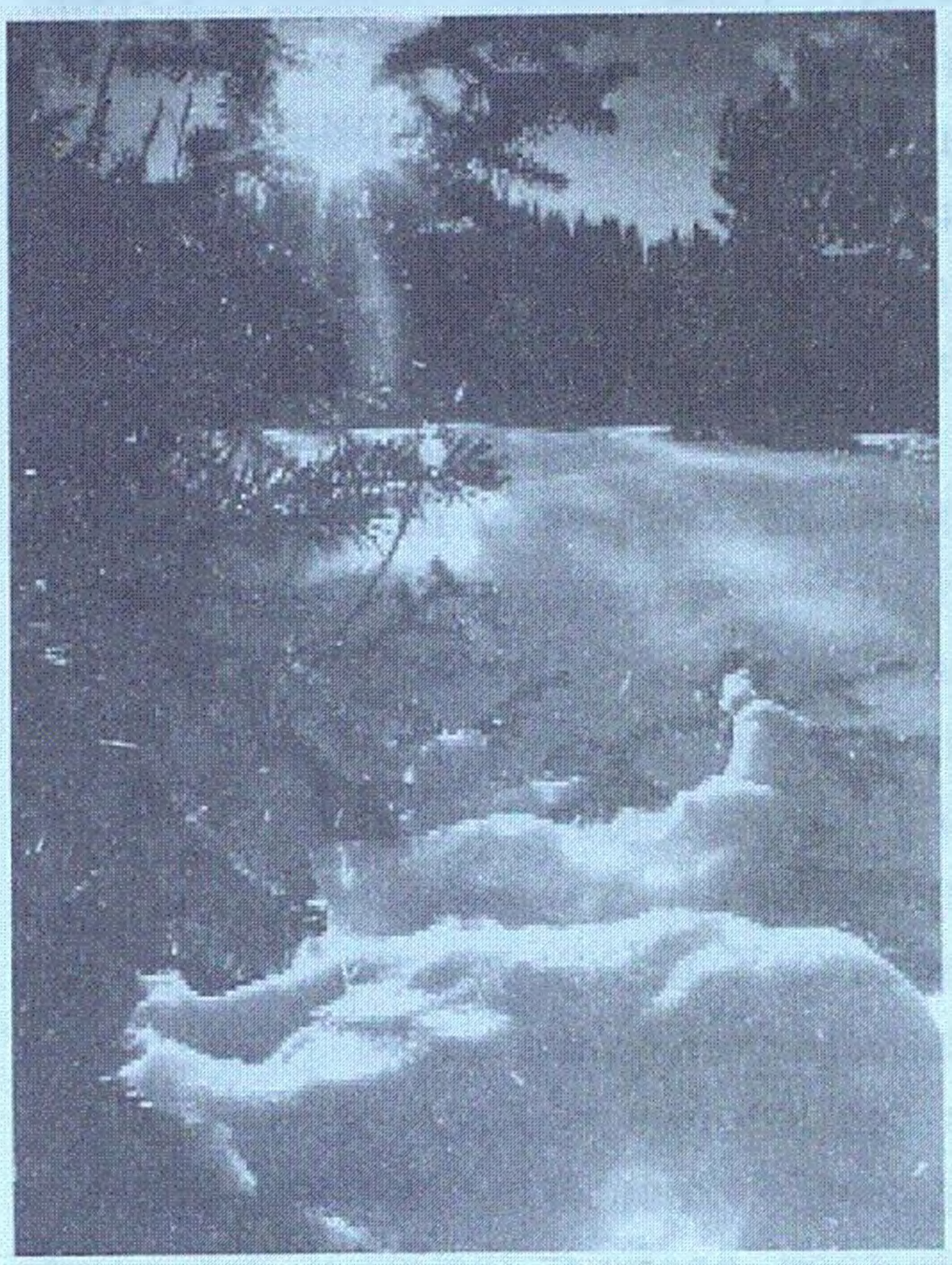
Она, зажав в кулаке остаток пенсии, заковыляла ловить такси. Где-то часа через полтора она была уже на своей дачке. Град еще белел с теневой стороны, солнце уже посеребрило мокрые листья, на сырой блестевшей земле валялось несколько сбитых яблок, да желтела костяным сломом ветка.

Мать сидела на палубе и, постанывая, раскачивалась из стороны в сторону. Подошедшие соседки успокаивали:

– Ивановна, не расстраивайся, может все и обойдется. Сейчас с этим строго, с жульем-то. Может все и обойдется...

И мать, комсомолка тридцатых годов, верила, что все обойдется...

# БЕЛАЯ ТРОПА



Свитер, связанный черкешенкой из домашней пряжи, большой и лохматый, пахнет овечьей шерстью. Спортивная красная шапочка сбита на затылок, потому что жарко: только что из теплой квартиры; плоские черные ботинки с широким рантом хрумкают по снегу, узкие голубые лыжи легко прогибаются, когда я связываю их с тонкими алюминиевыми палками. Я проделываю это не торопясь, обстоятельно под Наташкиным окном. Она стоит рядом: вывела погулять на снегу двухлетнего сынишку. Дети строят во дворе белый город с башенками и стенами из снега, и сынишка моей молодой соседки тоже пытается строить, но неосознанно тычет ребром зеленой лопатки в белое.

Я ухожу, и детвора отрывается от белого города и смотрит вслед с тихой завистью и любопытством.

Разве не здорово это — каких-то двадцать шнут на автобусе и шум города остается позади, а навстречу плывут заснеженные березы, и горы с каадой минутой становятся все ближе и ближе. И машина уже тянет с трудом, пробуксовывая на пригретом солнцем снеге. И все вокруг: и синеющий вблизи лес, и ослепительно голубое небо, и сверкающая белизна пушистых снегов — создает праздничное, приподнятое настроение. Хочется дышать полной грудью и бесконечно долго шагать по белой безлюдной тропе, узнавать забытое и радоваться воспо-

минаниям, которые просыпаются на каждом шагу.

Я поднимаюсь по тропе с лыжами на плечах. Их придется нести очень долго, пока подъем не станет спуском. Это где-то там, у самого подножья скалистого Кумбеля, откуда по западному склону хребта открывается широкое горное плато, по которому можно скатиться к городу совсем в противоположной стороне, к его яблоневым садам, обступившим предгорье. Я быстро ухожу от казенных корпусов маленького дома отдыха, в которой многолюдно в это время, когда все засыпано снегом. Две-три избушки, прилепившиеся на склоне, чадят высокими пахучими дымами; в стогах на крышах сараев золотится душистое сено; лошадка, привязанная к плетню, пригрелась на солнце. Ветерок из ущелья несет навстречу негородской, но до боли знакомый запах жилья; тенькают на частоколе маленькие синички, воинственно носится сорока и косит одним глазом на окна.

Хорошо в лесу зимой, в начале недолгого ясного дня.

...Зима много значит для птиц и зверей. Зима много значит для всего живого. Надо приспосабливаться, менять образ существования. Размеренную городскую жизнь не очень-то смутишь новым временем года, а вот на селе зимние лютости, порой, коварны, и намного свободнее после холодов чувствует себя сельский житель, когда зима не обжигает овцам вымя и весеннее солнце открывает закованную в лед сухую траву.

Но о джутах и разных других бедах, приносимых зимой, я узнал значительно позже. Детское восприятие зимы было и осталось праздничным. Просыпаешься, а в окно протянулись тяжелые пушистые лапы карагача, и все вокруг белым-бело, и люди бегут-торопятся, и стекла в хрустальных разводах, и под окном колют саксаул и обломки его далеко отлетают, застывая в сугробах черными птицами.

Первые воспоминания детства остались зимними. И не только у меня. Мой товарищ родился в деревне. Ударится в прошлое и начинает ахать: ах, какие у них сугробы и овраги, какие дымы из труб и лед на речке, а лес просто сказка. Я в городе вырос — и тоне зима в памяти. Правда, город был не то, что сейчас. Дома почти все старые, с резными наличниками, вода в колонке через дорогу. Печи топятся привозным саксаулом, на улице лошади, запряженные в кошевки, торопятся ишачки на

тонких ножках, тащат в саночках зеленое пахучее сено. На мостовой обледенелой навоз. Воробьи гоношатся радостно; мчатся, звеня колесныш цепяш, угловатые трехтонки, работающие на чурках. На Зеленом базаре хмельные инвалиды торгуют примусными иголками. Шум, теснота, подшитые валенки и стертые кожушки. Посиневшие от холода цыганки, гадающие на ходу. Словом, послевоенное время со всеми его приметами: длинными очередями за хлебом, от квартала до квартала. И предпраздничные очереди за редким товаром — сахаром и мукой. И остывшие ноги, которые, кажется, никогда не отогреть. И квадратики жмыха табачного цвета, и мамалыга из кукурузной крупчатки, сдобренной подсолнечным маслом (мать разрезала ее толстой суровой ниткой и смотрела, чтобы всем досталось). И эти очереди, где все выдавалось по норме "в одни руки" и надо было ловчить, чтобы хватило до следующего раза — все это казалось само собой разумеющимся. Мы не представляли, что может быть иначе, хотя мы часто от взрослых слышали разговоры о "мирном времени", видели предметы и вещи из того, незнакомого нам "мирного времени". Уже год, как закончилась война, и это саше "мирное время" для нас, ребятишек, осталось но временным понятием, а какой-то далекой красивой страной...

Наша школа — одноэтажное длинное здание, где во время войны размещался госпиталь. Школа — рядом с единственной в городе мусульманской мечетью, откуда по утрам раздавался крик муэдзина. Помнится Пушкин на обложке тетради в витиеватой рамке. С известного портрета Тропинина. Небрежный, домашний, с белым воротником нараспашку. "И долго буду тем любезен я народу. Что чувства добрые я лирой пробуждал...".

Мне тогда было семь лет, и я мало что знал о Пушкине. Почему он должен быть любезен народу? И вообще, если лира — музыкальный инструмент, то причем здесь стихи? А вот "Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь", — дело понятное.

У меня был свой крестьянин — дед по матери. Дед Петр, крепкий, ширококостный, с гладко выбритым квадратным подбородком, с густой щетиной рыжеватых усов. Всегда угрюмый, он напоминал изгнанного Меньшикова в Березове с картины Сурикова.

Дед жил далеко, в станице, со всеми моими дядьками и тетками по материнской линии. У деда было хозяйство, корова и огороды. (Туда мы приходили редко, мать считалась городской, держалась особняком). Дед частенько приезжал на гнедой лошадке, в легких широких санях, и я всегда радовался случаю прокатиться.

Однажды, вернувшись из школы, я как всегда обрадовался, увидев гнедого. Приходилось занижать у него сена для кроликов. В подвале под дождь у нас жили Серый и Машка. Все лето я кормил их клевером и ветками карагача. Кролики были уже большими, но почему-то не плодились.

Положив портфель, я хотел пойти за сеном для Серого и Машки, но мать сказала, чтобы не ходил, потому что кроликов дед зарезал.

Я выбежал без шапки на улицу и увидел в палисаднике деда. В руках он шш лохматые руковицы, а перед ниш, на прогнувшемся ветке карагача, висело что-то длинное и розовое, а снег был забрызган красным. Дед засмеялся и подал мне рукавицу, а это была вовсе не рукавица, а шкурка Серого, растянутая на гибкой пруте. Я заплакал и пошел прочь, а потом увидел, что черная собака Тайга грызет Машкину голову. Я набросился на нее и стал оттаскивать за уши, а она огрызнулась и порвала мне штанину. В тот день я плакал и ненавидел...

Но к материным родственникам я любил ездить в предвкушении радостного чувства новизны.

Дед дал мне однажды вожжи, а у самого дома, на крутом повороте, лошади отчаянно понесли. Всех выбросило из саней, а я удержался и добрым молодцем, натянув вожжи, разгоряченный подлетел к избе.

Дедова улица начиналась от предгорьев и вела вниз к широкому оврагу. На глубоком дне его, засыпанном снегом, ютилась речушка с узким мостком — двоим издокам не разъехаться. Мы катались на санках, и санки по дороге шли самокатом, а на большой скорости вылетали на мост и, шшуя его, замедляли свой бег, когда дорога выходила на подъем. И вот как-то мы вынеслись на санях в овраг, в который раз, как на крыльях вылетели к мосту, в ушах свистело, сердце замирало от близкой опасности, а по мосту шел воз с сеном, и мы уже не могли свернуть в сторону. В узком накатанном желобе санки ошиблись с лоша-

дью, и мы, как подстреленные, рухнули с шета на лед речушки. дядлька тй внизу, а я сверху. И это меня спасло. Он сильно ударился грудью и долго не мог прийти в себя, дед не сочувствовал и даже хотел потом его выпороть за то, что сбили ноги чужому коню.

Вечером, забравшись на лежанку, при свете семилинейной керосиновой лампы я читал двоюродной сестре Аленке по слогам первую в своей жизни книгу, взятую в библиотеке. В тетради я записал ее название таким образом: "Скаска о мюртвой царевне и о семи богатырях". Помню, как отец стыдил меня за безграмотность. Мы читали и задели девицу-красу и королевича Елисея, злились на Чернавку, и когда царевна взяла в руки отравленное яблоко, "к алым губкам поднесла, потихоньку прокусила и кусочек проглотила", глупая Аленка ударилась в рев.

Дед посмотрел сурово, и Аленка поперхнулась. Он сидел в углу и подшивал валенок. Руки его были большими и. черными. Над головой его висела деревянная рамка со множеством семейных фотографий, а в уголке карточка старшего сына Виктора в шлеме со звездой и в шинели, перехваченной ремнями. На фронте он был разведчиком и долго не писал писем. А потом пришло извещение, что он пропал без вести. Но дед Петр не терял надежды, ждал. И я тоже ждал.

Мать говорила, что я очень похож на дядю Витю, и тот, уходя на фронт, пришел и поднял меня на руки. Я очень гордился, что имею какое-то отношение к разведчику дяде Вите.

Помню еще картинку в книге: девица-краса вдет в цветастом долгополом платье по глубокому снегу, вокруг деревья с красными стволами, белым пухом на ветвях, жирные вороны расселись по сучкам, а вдали на обрыве терем за крепкими воротами, с коньком у крыши и резными окошечками, и рыжий внимательный пес, ведущий царевну к хороши братьев-богатырей.

...Избушечки, разбудившие во мне запахи далекого детства, там внизу, у подножья, уже кажутся игрушечными. Бурая темнота ельников приближается. Снег на открытых местах слепит до рези в глазах. Тропа упрямо лезет в гору. Тяжело дышать, жарко и тяжело. Дщвения становятся вялыми, и лыжи уже давят плечо. Ботинки на крутизне скользят и от этого еще труднее. Хочется скорее выйти на гребень и оглядеться. Хреб-

ты поднимаются с каздым шагом, выставляя напоказ ельники, голые березняки на склоне распустили косы, мешают смотреть. Посадки молодых сосенок привалены снегом, торчат вперекось, растопырив ветви, как кресты на заброшенных кладбищах.

Я смотрю на сосны, посаженные на крутой высоте и не шгу снова не вспомнить дедушку Петра. Так же, террасами, возделывал он землю у оврага, засадив плодовыми деревьями. У него вызревали виноград, абрикосы и маленькие пахучие украинские дыни.

Дед умер слякотной осенью. Через два месяца за ним ушла бабка, которая до этого долго болела.

Я помню, как в разрытую дедову шгилу, рядом с потускневшим гробом, поставили второй, сважевыструганный. И многочисленные дочери старика разом заголосили, запричитали и попросили показать отца. И зятья, красные от мороза и выпитого, заворочали топорами и ркавые гвозди выползли с визгом.

Я отшатнулся.

Шагая по белой тропе, мимо посаженных на крутизне сосен, я подушл сейчас, что у лвдеи, совершивших, в обіцем-то, варварский поступок, были свои особые чувства к делу, невыразимые одним понятием — Сыновняя Любовь. Он значил гораздо больше для них. Он был все — Голова, Надежда, Уверенность, Благополучие и Завтрашний день.

Он привез на новые зешш кучу малолетних детей, поставил хату под соломой, с глиняным полом, посадил большой сад, ходил плотничать на стройки в город, скопил на корову. Он выучил детей, выдал дочерей зшун. К вот его скрутило вечером после работы в огороде, когда он разгоряченный поел дымящейся картошки и напился ледяной воды из колодца. Машина с доктором не шгла пройти из-за распутицы, деда повезли на телеге, но так и не довезли.

Сейчас на дедовом участке дшшут несколько хозяев, они все перекроили по-своему, но деревья остались. Осталось и важное, связанное с образом деда понятие, главное — это Труд.

...Я вышел, наконец, на гребень сопки и остановился на небольшой утоптанной площадке. Всегда интересно осмотреться и передохнуть перед новым подъешм. Прямо из-под ног уходил вниз черный ельник с посиневшим снегом. Старые ели обступили, подпирая острыми верхушками удивительно близкое без-

донно-синее небо. Лучи солнца, пробиваясь сквозь деревья ослепительными столбами, высекали на снежных полнях разноцветные искры. С хвойных лап давно сползли снега, и такая стояла тишина, будто отродясь здесь не было ничего живого.

Но я знал, что все живое попряталось, увидев человека. Еще издалека услышав “хрум” снега, замолкли и попрятались синицы, чижи, клесты и дятлы. Белка превратилась в истукана, слилась с деревом, рябчики под хвоей нахохлились — не шелохнутся. Из черни, кажется, смотрят острые сверлящие глазки — выжидают. Хочется скорее на солнечную поляну — плохо, когда чувствуешь, что за тобой наблюдают, а ты не знаешь — кто и что.

У всего живого своя осторожность. А вдруг это не лыжи на плече, а ружье? Лучше выждать. Вот я сейчас скроюсь за елками и сниму негласный запрет с тишины, с птичьих страхов и звериной осторожности.

Когда еще был жив дед, я видел страх большого мужчины. Средь бела дня он забепал к нам в комнату и, что-то извинительно бормоча, спрятался под кровать. Выл воскресный зимний день. Гудела растопленная печь. Мать вертела на мясорубке мясо. Отец писал за столой. Я пришел со двора и развязывал у порога коньки. Я не видел, как человек с улицы вбежал и спрятался под кровать и о чем он успел поговорить с отцом. Я видел того, другого, который пришел за ним. Запомнились блестящие сапоги и темно-синее короткое пальто. Он говорил резко и громко. Отец молчал. Потом человек заскрипел сапогами по коридору, обходя квартиры нашего одноэтажного дома. Он так и ушел ни с чем. Тот, другой, еще долго лежал под кроватью. Когда он вылез, руки у него дрожали. Он показывал документы и фотографию детей.

Я не знал подробностей, но только помню твердо одно — этот человек не был преступником. Иначе отец обошелся с ним по-другому. Больше того, я понял, что этот человек без прав. И меня это поразило сильнее Всего — прав и боялся. Я рассуждал так, если один не верит или ошибается, то найдутся много других честных людей, которые поправят того, кто ошибается. Есть прибауточка: “Я не трус, но боюсь”. Опять-таки это относится к чувству осторожности для всего живого. И даже здесь, на горной тропе, в одиночестве, можно ожидать разные неожи-

данности: нужно бояться снежных карнизов, способных вызвать лавину, нужно бояться туманов, темноты, холода и слепящей белизны снега, предательских сугробов и камнепадов. Но походи по горам — и у тебя появится своя страховка от неожиданностей. Но больно, когда человек прав и боится отстоять свою правду, защитить ее и себя.

Достаточно времени прошло, и многое изменилось, но нет-нет и Всплывет в памяти человек, спрятавшийся под кроватью в чужой квартире.

Я стараюсь успокоить дыхание и, медленно переставляя ноги, след в след, поднимаюсь на лобастую открытую вершинку. Отсюда — обзор в обе стороны: видны и красные гранитные скалы над ельниками, и длинная заманчиво близкая вершина Кумбеля, и город, прикрытый фиолетовым туманом. Его выдохнули трубы и машины. Рваные зловещие клочья вползают в ущелье и гаснут, растворяясь в слепящей белизне снега. Но туман успевает прихватить скалы и ели у подножьев. Они как бы отступают, проваливаются, скрываются в белой стене. Зато елки на вершинах выдвигаются вперед, словно провисают над белизной. Мне с разных высот приходилось видеть город и хорошо помнится какой он, там, за туманом.

Я вижу прямые пунктиры его улиц с ровными рядами тополей. Новые здания, вызывающе высокие, домишки с резными окнами, высокими ажурными крылечками, обычными когда-то для города, я вижу их за обсыпанными снегом кронами деревьев.

До недавнего времени стоял наш старый жэковский дом с зелеными ставнями, принадлежавший до революции какому-то купцу. Окна там были всегда в морозных разводах, топилась печь. Уютно было, прислонившись к теплой стенке, читать Пушкина. Так у меня слилось воедино — Зима и Пушкин. Может потому, что отец принес большой, хорошо оформленный том поэта именно зимой, именно в мороз, и эта книга-глыба едва умещалась на детских коленях. Мы читали ее зимними вечерами, и царь Дадон, и тридцать три богатыря "в чешуе, как жар горя", появлялись из "моря-океана". И все расплылось как сон: далекий, сказочный и певучий.

Сама личность Пушкина меня в то время интересовала постольку-поскольку. Он принимался как должное: как учительница,

школа, отец, мать. Пушкина с его сказками просто не могло не быть: ибо тогда бы не было ни хрестоматий, ни уроков литературы.

Но потряс меня раньше другой поэт, стихов которого я до этого времени не знал. Он-то и заставил меня по-иному взглянуть на Пушкина, на поэзию и творчество вообще. Взглянуть пристальнее, мучительно почувствовать живое единство поэтических строк со временем и чувством, понять великую силу таланта, который, как всякая редкость, не может принадлежать одному человеку.

Может быть, все объясняется просто: в ту пору, когда я писал "Сказка о мертвой царевне", рядом со мной жил человек. Он вставал рано утром в заснеженном городе, пил морковный чай и шел на работу. Он шел мимо старых тополей, в промозглой мгле угадывались очертания горных пиков, стояли очереди за хлебом, и военная сводка Информбюро гремела из хриплого репродуктора. Этим человеком был поэт Владимир Луговской.

Уже подростком прочел я его поэму о моем городе, который он назвал "Городом вещих снов". Настолько остро и близко я все тогда воспринял, настолько значительнее и дороже стали для меня вещи и понятия ранее обычные: и люди, и деревья, и дома, и Алатау, который "словно белый слон, глядит клыки поднявши". Проявились образы почти величественные и вечные, которые я просто не сумею забыть, а тем более никогда не растеряю.

"Стоит мороз. Шагнешь — и хруст стеклянный. Как будто раздавил стакан, и осыпь, как нафталин блестя, летит с деревьев, положенных на время в сундуки Большой зимы на самой грани мира. Текут в лиловом небе ледники". Это облака текут над горами, увлекая за собой ледники и горы, будто одушевленные, и душа их прячется в чернолапых елях до времени, а в полночь оживают лавины и ворчат, и мечутся, расталкивая деревья и расшибаясь о скалы, и пенные брызги снега взлетают к низким зеленым звездам.

В летние горы я пришел совсем мальчишкой. Зимой они еще были для нас запретом. Только подростком я отправился с товарищами на перевал, на высоту 3300 метров, и поэма, которую я, к счастью, прочел накануне, вдруг ожила и стала явью. Я видел, как "на скалах, прикорнув, ночуют звезды" и "холод-

ный месяц рвет атлас небесный", и "зеленеют пики беспамятных хребтов почти подлунных". Я внутренне возликовал, что могу видеть и понимать все это. Никогда раньше стихи для меня так не сливались с реальностью, никогда, если можно так выразиться, предмет творчества не был так близок. Писательский труд показался мне тогда волшебством, недоступным простому смертному. Да и разве это не волшебство — заставлять человека радоваться и переживать и одним своим прикосновением к окружающему обессмертить его!

Потом я снова перечитывал Пушкина, тот же самый толстый том, что держал на детских коленях зимними вечерами. Перечитывал давно знакомые вещи, стараясь вникнуть в причинность сказанного, представить писательскую мастерскую. И в этом случае уже личность самого мастера волновала: его дух, его труд, его подвиг. Быть в творчестве честным — разве не подвиг? Ода "Вольность", "Послание к декабристам" — разве не вызов, не пример великого мужества?

"Имеющие уши да услышат, имеющие очи да увидят, имеющие губы — говорят! Событья, не кончаясь, происходят. Не мне остановить поток событий. Но я, как прежде, населяю землю. Но я, как прежде, запеваю песню. Я это создал. Я за все в ответе..." Это тоже Луговской. Его белый стих пришел ко мне вместе с белыми вершинами, слова поэта возвратили их величие. Эти горы не только мои, они принадлежат Земле, они — след ее скрытой, неподвластной нам силы, но за все остальное, что вершится на планете, отвечают люди.

И в городе, лежащем внизу, внешне спокойном под туманом, бушует множество страстей, но они лишь ручеек в море страстей человеческих. И мы в гордости за все доброе и высокое, в ответе за недостойное.

"Но всегда ли ты честен к самому себе, всегда ли справедлив и необидчив, там где нужно было проявить большую сдержанность и смирить болезненность самолюбия?". Эта мысль, как холодная льдинка, лежит у виска.

Вспоминаю встречу с матерью. Тогда у родственников был семейный праздник. Приехала с Украины ее племянница, женщина черноглазая, полная, телом крепкая, с говорком громким, певучим, ненашинским, с прямолинейностью суждений, свойственной всей материной родне. Приехала основательно,

погостить, за десяток лет один раз. Такая даль, за тысячи километров, и все поездом, с пересадками, по давней привычке. И уж точно это было событие в их покойной жизни, особое торжество, когда все должны собраться за длинными столами под старыми деревьями, посаженными дедом Петром.

Открытая урюковая аллея вела к белой хате, туда можно было подъехать верхом на лошади, свернув с дороги под сень деревьев, можно было опустить распаленные на горячей пыльной дороге ступни в прохладные струи арыка, по которому плыли уставшие от зрелости, сбитые ветром оранжевые плоды. Разрешалось их брать прямо из арыка и есть, потому как вода была чиста. Терпкая мякоть была пахучей и освежающей.

В ту пору конфет мы не видели, кино было неосознанным таинством, а дедушкин сад, разбитый террасами на неровностях земли, с его непохожими уголками, казался таким большим и влекущим, наполненным неожиданностями. Чего только стоил один чердак со стороны сада, с кривой колченогой лестницей, где под сеном лежала всякая всячина и висел на стропилах настоящий велосипед дяди Виктора. Велосипед мы не трогали, хотя очень хотели прокатиться. Он ждал дядю с войны. И не дождался. Никто не вывел его из урюковой аллеи. Не отвез на барахолку, когда в доме не было денег.

Оглядываясь на детство, я вспоминаю эти простые и обыденные вещи, которые сейчас стали чуть не символами.

Я медленно шел через урюковую аллею, обходя хату с завалившимися боками, заросшую кустиками молодой крапивы, и кажется она мне до неправдоподобия мала — макет, слепок из того, что помнится. Мы просто выросли.

А ведь казалось мне тогда, что мир и жизнь бесконечны, что уходят из жизни только очень старые и болезненные люди, замкнутые в своей суровости, такие, как бабушка Глафира. Может, она-то первая и наколдовала моей матери, что окажусь я строптивым, самостоятельным ребенком. Старуха как-то несправедливо обидела меня из-за какой-то мелочи, а я настаивал на своем. “Наплачешься ты с ним”, — сказала больная бабка, показываясь в черном проеме окна. Стояла тогда ослепительно-желтая луна, сладко пахло сиренью, а мы, маленькие двоюродные братья и сестры, не хотели уходить в душную хату, где пахло сыростью земляного пола и вареной картошкой.

Все это мгновенно промелькнуло в моей памяти, когда я увидел накрытые в саду столы у нового сверкающего голубыми ставнями дома и среди гомона гостей отчетливо услышал голос матери:

— Я знала, что он вернется...

Мне сразу почему-то захотелось уйти, не знаю почему, может быть, из-за этого, "я знала", этой всегдашней взрослой самоуверенности, которая не раз ранила детскую волю, оставляя в сознании глубокие следы.

Что есть детская воля — упрямство? Ведь воля может быть сильной, слабой, мужественной, несгибаемой и так далее. Но, помню, было тогда болезненное чутье ребенка к добру и злу, был и протест, и замкнутость, и отказ от предлагаемых соблазнов. Разве это не стремление сберечь свою независимость, разве это не воспитание упорства? Пропади оно пропадом — но сколько раз приходилось его испытывать.

Я помню, как у нас во дворе сытый мальчик, сын хорошо устроенных родителей, выходил на крыльцо с белоснежным куском батона и широким ломтем толстой пахучей колбасы. Он тщательно жевал, смотрел на нас с презрением и бросал в нас, копошившихся в песке, сухими желудями, норовя попасть побольнее. Ах, как хотелось этой недоступной, необыкновенно пахучей колбасы, которую упитанный мальчик нет-нет да и подбрасывал потрясенной вниманием черной кошке с зелеными глазами. Но мы ни разу у него ничего не просили, не меняли, как иногда делали между собой, с детьми, проводящими время на улице, воспитывающими своих младших братьев и сестер в царапинах и маленьких выдуманных для себя радостях. Не было у нас этого белого хлеба с колбасой. Очевидно, поэтому до сих пор это осталась самая что ни на есть приятная и надежная для нас еда на все случаи жизни.

...Ветер, налетевший со снежника, возвращает на землю. Где-то неожиданно близко слышатся разнобойные голоса, звенящие и неожиданные среди белого безмолвия. Я прибавляю шаг в желаний быстрее взять последний подъем и увидеть тех, отчаянных, что, несмотря на ранний мой поход, успели оказаться впереди.

Вот они пригрелись на седловиыке. Две девчушки в ярких спортивных куртках и рыжеволосый паренек сидят на повален-

ном еловом стволе. Другой разделся по пояс и ловко раскатывает на лыжах по склону, увертываясь со смехом от снежков, что бросают те, трое. Он мускулист, крепок и, видно, не знаком с простудами: на лыжах катит играючи и твердо стоит на ногах. Парень уверен в своей ловкости. Он в центре внимания и, чувствуется, ему, по всей вероятности, это приятно.

— Не простудись, Коленька, — почти просительно говорит белолицая девушка с густыми каштановыми волосами. И ей жарко: шапочку вязаную сняла, куртку спустила с плеч. Она смотрит на Коленьку с преданной доверчивостью. Здесь, под седловинкой, нет движения воздуха, прозрачно и чисто, близкое солнце отчаянно греет — и впрямь можно загореть. А плечи у парня уже покраснели.

Я тоже говорю Коленьке, чтобы он поберегся.

Парень несколько недоброжелательно смотрит на меня, морщит свой конопатый нос и советует:

— А вы попробуйте...

Я говорю, что в свое время пробовал, а сейчас с подъема лучше остынуть и расслабиться.

— И то верно, — одобряет Коленька и, набросив куртку, втыкает лыжи в снег и присаживается рядом с белолицей девчонкой. Я тоже устраиваюсь на краю бревна, вытаскиваю свои бутерброды.

Коленька ревнико косит на меня и предлагает горячего чаю из большого голубого термоса. Тонкий металлический стаканчик обжигает пальцы. Я блаженно прихлебываю чай и разглядываю своих новых знакомых.

Им лет по восемнадцать, девятнадцать. Наверное, первокурсники. Вторую девушку зовут Аня. Она розовощека, полновата, смешлива, постоянно тормошит своего соседа пустячковыми вопросами. Тот медлителен, терпелив и серьезен, отвечает ей обстоятельно, вполголоса. Он худощав, черен, как грач, красивые миндалевидные глаза глядят с прищуром, длинные и тонкие пальцы лежат на коленях.

Они такие все непохожие. Но в этой непохожести есть что-то общее, сближающее. Только ли молодость? Ведь не вдруг они забрались так далеко, не случайно. Были, видно, разговоры и сборы, и споры с родителями: "Совсем, мамочка, недалеко, на санках покатаемся и вернемся. Какие там лавины, не сезон еще..."

А может быть, ничего этого не было, никаких разговоров. Только подготовились они основательно: и санки, и лыжи, снаряжение и термосы. Так ходят в горы не случайные люди. Скорее всего тропы им здесь знакомы, и привал у них не праздный. Не видно у них той самой горячительной бутылки "на всякий случай", что приносят с собой нередко "любители природы".

— Скоро будете спускаться?

— Скоро, скоро, — отвечает за всех Аня. — Ребята впереди, а мы на санках, лыжня здесь накатанная.

— Пройдут ли сани?

— Ничего, — по-хозяйски говорит Коленька, — ничего, вытащим.

Мне кажется, что я стесняю этот дружный, хорошо понимающий друг друга коллектив. Собираю рюкзак, вскидываю на плечи ставшие тяжелыми лыжи, прощаюсь. Мне желают удачи.

Скоро выхожу из седловинки и замираю. Вот оно! Больше не надо карабкаться вверх, рассчитывать, экономить силы, следить за вдохами и выдохами. Вершинка, как гребень, гигантской плотины, делит горы. Под ногами длинный затяжной спуск с холмами-трамплинами, искрящаяся солнечная долина, манящая белая дорога, которая обещает радость движения и борьбы.

А за спиной неправдоподобно крохотные деревья. И дремучий ельник видится лишь черной лентой, а избушки вообще растворились, как будто их и не было. Позади несколько часов утомительного подъема, и все это ради десятков минут скорости. Стоит ли долгая дорога этой короткой радости?

Медленно пристегиваю лыжи, оглядываюсь, машу своим знакомым незнакомцам, они дружно поднимают руки. Вершина Кумбеля отражает солнечный свет, блестят ее ледяные бока, снег слепит своей яркостью. На сердце сладостно и тревожно и в то же время необыкновенно легко. Ты силен и независим, надежен, ты на пороге открытия, успех которого не сомнителен. Но есть немного тревоги, томительного ожидания. Может быть, в этом и счастье?

Эти милые ребята, сидящие на бревне, пока что, наверняка, не осознают всего этого. Им просто хорошо. Для них это обычная вылазка в горы. У них еще много таких маршрутов, есть и будет. И костров, и переходов, и хороших песен. Но иногда не

заметишь, как вдруг все это кончается. То, что тебе казалось обычным, неожиданно на всю жизнь остается только в памяти. И друзья-товарищи, которые были с тобой радом в те прекрасные минуты, становятся надолго спутниками твоих воспоминаний, доверенными людьми твоей юности. И не только величие природы связывает тебя с ними, не только время твоей первой тропы, сколько раз была возможность проверить и понять друг друга. Никогда не забудешь горы. Никогда не забудешь людей, с которыми там бывал. Эта дружба, как пароль. Она с годами теплее и надежнее.

Я смотрю на Кумбель и вспоминаю, как застал нас дождь на его вершине, когда мы, самоуверенные десятиклассники, а в общем-то, зеленые мальчишки, вместе со своими сверстницами, вот так же, дикарями, пошли на восхождение. Все было хорошо, но потом пошел дождь и стало темно. Для нас это явилось настоящим испытанием. Держась за руки и спотыкаясь, мы спускались наугад в кромешной тьле, едва различая тропинку. Было холодно, толо ломило от непривычной усталости. И не было большой мечты, чем лечь в тепла и вытянуть ноги. Это простое желание казалось далеким и несбыточным. Уж не помню, как мы добрались до кромки хвойного леса, и там, под прикрытием камней, развели быстрый костер и так же наскоро, попив чаю, заснули богатырским сном на хвойных лапах под надежным прикрытием елей. Нас разбудили, поистине космическим рассвет и пронизывающая утренняя свежесть, которая летним утром может быть только в горах. Небо, повторив все цвета спектра, до белизны высвечивалось ослепительно ярким солнцем. Оно на миг притушило все краски, и синева над головой будто отодвинулась еще дальше.

Перед спуском мы сфотографировались. И эта небольшая любительская карточка до сих пор хранится у меня, мгновенно проявляя оставшееся за спиной время. Многие имена,кроше, конечно, близких, уже помнятся не так ясно. Но лица каждого до боли знакомы. В толпе ли мелькнет оно, или в солидном учреждении встречаешь за столом весьма ответственного товарища, в котором, или в которой, узнаешь Петю, Сашу, Галю и, забыв про дела, вдруг радостно и взволнованно начинаешь вспоминать что было, расспрашивать, у кого и как сложилась судьба. И в эти минуты особенно ярко осознаешь, каким светлый и памятным был тот один-единственный день, и холодная ночь, и

скорый рассвет, и костер, и песни — какими открытыми и честными были друзья твои, которых ты не выбирал. Мы просто встречались на улице, в школе, на стадионе, ссорились, по-детски упрямились, но все же не могли быть друг без друга. Мы обожали наше товарищество, необоснованное и несвязанное никакими договорами и обязательствами. Это чувство родилось и укрепилось в нас самих незаметно и верно, как утверждается со временем настоящая любовь.

Вспоминая друзей юности, ты невольно сравниваешь прошлое и настоящее, мысленно ставищь рядом товарищей и приятелей, знакомых, с которыми жизнь свела тебя в зрелые годы. Много их, хороших и честных людей. Но встречались и друзья видимые, льстивые и ласковые, на вид очень принципиальные и преданные. Разные по профессии и общественному призванию, они старались держаться кучкой, сохраняя видимость горячей дружбы, они собираются на шумные застолья, клянутся друг другу в вечной поддерккe, а разойдясь, желчно завидуют удаче соседа. Есть у них вроде все атрибуты дружбы — и взаимная выручка, и протекция, и покровительство, и следы откровенности. Есть шутки к анекдоты, и милые сплетни, на вид совсем безобидные. Но почти каждый имеет о другой мнение, сложившееся и далеко не всегда лестное. Обладая в жизни талантами. как правило, средними, держатся такие люди за это деловое товарищество, как за спасательный круг. Ибо это обеспечивает им возможность с лихвой попользоваться от общественного пирога, не вступая в особые конфликты с обществом. Пользоваться открыто, без видимых законных и моральных нарушений, без всяких махинаций и, упаси бог, взяток. Ведь чего только не сделает своя “товарищеская” рука!

...Я стою на краю перед спуском, впереди белая дорога. Я оглядываюсь в последний раз на Коленьку, на девушку с каштановыми волосами, на Аню и ее симпатичного спутника. Великой вам дружбы, высокой, как эти горы, и чистой, как утро. Я изо всех сил отталкиваюсь палками и сразу чувствую упругость ветра. Мелькают обломки скал на вершинах, побежали навстречу елки.

Дух захватывает, словно падаешь с высоких качелей, бежит навстречу белая земля, воздух становится холодным и колючим, предательская слабость обволакивает ноги, хочется

всем телом навалиться на бок, на сдвоенные палки и погасить скорость. Но разве не ради этих прекрасных мгновений проделан весь путь?

Спуск, пологий и затяжной, слепит и искрится, веером летит снежная пыль. Небо глубокое и голубое, даже темно-синее. Кажется, всего два цвета на земле — белый и синий, синий и белый. Мельком вспоминается фильм "Серенада солнечной долины". Картина послевоенная, цветная. Кажется, первая цветная, виденная в жизни. Там тоже лыжники, белые склоны и синее небо. И много музыки, очень красивой и влекущей. Я не помню ее, но эта музыка сейчас вокруг меня, в свисте ветра, в этих острых пиках и горбатых валунах, за которыми притаились невидимые музыканты. Они, как в фильме, играют влюбленным лыжникам, которые маленькими темными точками мечутся по белому склону, сходясь и расходясь, расписываясь на снегу во взаимном доверии.

Я взлетаю на белый холмик, что вспучился на склоне, как гигантский гриб-боровик, и чувствую, что ноги отрываются от земли, и ты летишь в бездну, и все в тебе замирает, и дыхание на миг гаснет, словно нежданно-негаданно провалился в ледяную купель, и хочется этого тревожного чувства, как запретной любви, как нелегкого утверждения, после которого наступает покой и радость.

Приземляюсь после короткого, как вздох, полета, правая нога предательски подгибается, и я нелепо взмахиваю руками. Только бы не упасть. Так хочется пройти весь спуск без падения, хотя чего уж тут страшного — отряхнулся и кати дальше: ничего не проиграешь, ведь не на соревнованиях, никто не осудит. Но так хочется пройти весь спуск без падения.

Упасть не успеваю, потому что впереди новая прямая — и короче и круче — и ее тоже надо пройти. Так весь во внимании, чувствуя каждым мускулом неровности земли, мчишься к синему лесу, который сам, будто нехотя, поднимается навстречу.

Теперь белая тропа, как стиснутая ущельем река, тянется под конвоем высоких елей, и они, расступаясь, открывают дорогу к настоящей реке, обложенной покрытыми льдом валунами. Там, за горной речушкой, голубые постройки лагеря, в котором зимой был только один хозяин — сторож Иван Федоро-

вич. Мы приходили к нему на лыжах веселой шумной компанией. Медлительный старик, уставший от молчания, ставил самовар, закусывал с нами, а потом рассказывал о событиях своей жизни. Они очень волновали его. Мы слушали не всегда внимательно, ибо его воспоминания были красивыми и романтичными, а сам старик — морщинистым, прокопченным, что както не вязались все его рассказы о подвигах деревенской молодости и его давней несравненной любви, которой не суждено было утвердиться.

Как счастливы и невесомы как красивы и внимательны тогда были, наши спутницы. Снегурочки, среди синего леса, подруги со снегурочкиными глазами. И помню, как смотрел на нас Иван Федорович прищуренными выцветшими глазками, подперев голову сухонькими кулачком, и, вздыхая, говорил почему-то: "Эхма, дела-работа!", а потом, расчувствовавшись, прощался с каждым за руку, называл девушек дочками и долго стоял, глядя нам вслед и думая о своем. Только пес Тарзан, обалдевший от внимания, вел нас долго, до самой автобусной остановки, куда мы подходили изрядно продрогшие. Где сейчас этот старик, который видится через года для меня намного сложнее и интереснее?

Лыжи беру на плечо: надо перейти речушку. Слышно, как подо льдом поет вода, а из черных продушин валит стылый пар. На той стороне из леса выходит наезженная санная дорога, из-под прибитого снега торчат острые камешки — лыжи уже здесь но в помощь. Как-то сразу спало напряжение, ноги расслабленные, ватные, первые шаги неуверенные, будто после долгого плавания ступил на твердую землю.

Сопки уже спрятали солнце, в ущелье все стало синим, мороз сразу напомнил о себе. Я поднимаю ворот вязаного свитера до самых глаз, скоро ворс его покрывается белым инеем. Ботинки деревенеют, кончики пальцев пощипывает. Стремительно накатываются сумерки, и невольно прибавляешь шаг. До поселочка у горной ГЭС еще с пару километров. Там остановка маленького автобуса-коробочки, который, при хорошем стечении обстоятельств, минут за сорок доставит вас до городских кварталов. Уже предвкушаешь убаюкивающее тепло автобуса и близкое возвращение. Возвращение из прошлого.

Это ощущение невольно захватывает, когда приходится бы-

вать в местах давних и дорогих, и появляется возможность не торопясь вспомнить как бы заново прочувствовать забытое. Как разбудила эта белая тропа память, как ясно встало перед глазами расплывающееся в морозной дымке время, как четко проявились лица, образы, и прекрасные давно прочитанные книги. И дед Петр, похожий на Меньшикова, и старая урючная аллея, и военное детство, и отчаянные походы к Кумбелю, и первые огорчения, и первая любовь...

Я бегу к автобусу, который в густеющих сумерках светит на повороте желтыми огнями. Успеет ли та четверка у Кумбеля к последним рейсам? Впрочем, время еще есть. У меня такое чувство, будто я сделал сегодня что-то очень важное.

Назавтра многое повторится. Будет тот же двор, тот же вид из окна, и Наташка со своим сынишкой на прогулке, маленькая озабоченная мамаша, и детвора, строящая белый город, и работа. Но после этой долгой белой тропы среди горных громад, пугающих своим величием, волнующим, но непонятным, на городские сложности ты будешь смотреть несколько иначе, ровнее и сдержаннее. И не потому что они стали вдруг значительно проще...

“В раздумье этом медленно я брел, а так и краткий путь нам станет долгим...” (Софокл “Антигона”).

# ТОРОПЛЮСЬ НА СВИДАНИЕ

## *(Послесловие)*

— Привет, старик!

— Привет!

— Говорят, ты все там... Бродишь по лесам?

— Все там.

— Не надоело?

Пожимаю плечами, не знаю, что ему ответить, и прохожу дальше. Мой самолет уходит на рассвете, и у меня в запасе еще почти целая ночь. Брожу по мокрому блестящему от огней асфальту, кланяюсь знакомым. Четкие шаги по камню глушатся ковром мокрой листвы. Прохожих все меньше и меньше. Думается легко. В голове рождаются экспромты и память торопливо пишет на своих страничках. Они не забудутся, потому что я говорю с городом, в котором родился.

### *Моя большая земля*

Мы мужаем и взрослеем, а большие города рождаются заново. Это удел больших городов, которым люди отдают свой талант и мускулы. Мой город, после долгой разлуки хочется разглядеть тебя особенно пристально, нежно и близко, как лицо любимой, хочется скорее привыкнуть к твоей новизне, прислушаться к ритму твоего теплого дыхания. Ты хорошеешь, и старое рядом с тобой тоже кажется иным. Зеленый строй древних тополей и черные стволы вязов, которым уже не один десяток лет, неотделимы от твоих улиц. Можно не найти старых верненских домов с резными крылечками и наличниками, но можно встретить дерево, знакомое с детства. А все, что помнится с детства — дорого...

Одно время я не был здесь несколько лет, но сразу растворился в родном городе, как водяная капля в морском просторе. Капли очень похожи друг на друга. Одни уходят в землю, другие уносятся с дождем, чтобы где-нибудь далеко упасть на сухую землю. Но капли возвращаются. Снегом, туманом, грозой и тогда для них после долгих странствий особенно спокойно и хорошо в родном море. И штормы, и

приливы, и отливы кажутся им тихими и ненужными. На размытых половодьем тропах, в охотничьей избе, в палатке геолога — куда бы ни занесли дело и судьба, я вспоминаю лицо родного города, и в трудную минуту он мне кажется Большой землей, нереальной далекой Большой землей, городом снов, где все живет по распорядку давно утвердившегося благополучия.

И тогда мне как страннику, пресекшему пустыню, хочется упасть на траву в яблоневом саду и пить, пить пригоршнями холодную воду из знакомого родника, набираясь сил для нового перехода.

Я тороплюсь к тебе на свидание за любовью и силой.

## *Матвеичев сад*

Встретишь где-нибудь далеко-далеко на засыпанном снегом маленьком руднике своего земляка, он обязательно спросит о яблоках. Появятся в Алма-Ате еще сотни новых зданий, красивых и безупречно современных, ими будут любоваться, и это закономерно. Но по тому — остались в Алматы яблоки или нет, можно понять, как цвели наши сады и цветы на площади и какая была осень... И представятся гнущиеся к земле ветви с тяжелым кроваво-красным апортом, покрытым сиреневым инеем пыльцы. И мой земляк побывает в эти минуты у себя дома, в яблоневом саду, у того холодного родника... Но все меньше стало таких садов.

Приезжая, я всегда навещал Матвеича, знакомого садовода и философа. В предгорьях, в яблоневом море неожиданно всплывают цветные квадраты домов, и горный ветер гуляет в комнатах новоселов. И у Матвеича что-то строят. Опять какую-то дачу.

Мы говорим со стариком о яблонях, о видах на урожай и о многом другом. А за окном полтора гектара бушующей зелени, красок и аромата. Здесь и солнце, и запах меда, и сладостный дух горных цветов, и необычно внятно чувствуется запоздалое тепло золотой осени. И это почти библейское место своим рождением целиком и полностью обязано старику, который сидит рядом.

Много лет назад какое-то солидное ведомство заняло под дачи клочок земли на предгорьях. Дач тогда не построили, хотя к земле приставили сторожа, и он начал потихоньку выкорчевывать колючие кусты шиповника и обсаживать солнечные склоны. Берег он сад, в весенние морозы окутывал саженцы теплым дымом костров. А когда появились завязи, спасал от разных вредителей. С первым урожаем спустился Матвеич с гор и принес в ту самую организацию полную корзину солнца. Здесь были и кандиль, и груши, и сливы, и лимонки, и всякие другие сорта. Но ничто не могло сравниться с апортом. Яблоко весом о добрых полкило, еще теплое от щедрого солнца, подернутое нежной пыльцой, скрипело, как свежевымытое стекло от неосторожного прикосновения пальцев. Такое яблоко нелегко поддавалось крепким ладоням, но, хрустнув, распадалось на две равные половинки и сверкало на свету сахаристыми блестками. И каждая клетка была полна энергии, и, когда за окном снег, особенно чувствуется, что этот кусочек горного солнца отдает все, что вокруг него цвело, дышало, жило и пело.

И пошла о матвеичевом саде большая заслуженная слава. И вот уже много лет он встречает и провожает гостей, которые любили приезжать к нему вечером. Сад стал местом отдыха, удачно придуманным сметливыми предшественниками, а Матвеич для многих — явно скупой старикашка, который при самом великом урожае ведет счет яблокам. Хотя каждый из той самой организации получал их осенью столько, что хватало до самой весны.

Кланяться в ноги надо человеку, что вырастил и сберег для людей этот сад.

На тоненькой хрупкой веточке раскачиваются облитые солнцем багровые шары. Дразняще нежные и тугие в руках молодой женщины, они могли бы украсить любой античный символ плодородия.

Я протягиваю руку, раздвигаю пыльную листву, и яблоко нехотя, с легким треском расстается с веткой, а та, облегченная, выпрямляется и дрожит, освободившись от бремени плода. И дрожь эта передается яблоку: приложишь к уху — будто что поет внутри и звенит тонким золотым звоном. А встряхни — услышишь, как стучат в плену зрелые набухшие семена.

## *Ала-Тау*

Свой вкус у яблок, оттого что зреют они в садах, прильнувших к белой груди Ала-Тау.

Ала-Тау, ставшее колыбелью моего города, сравнивали с застывшими каменными волнами, казахский акын называл его "жемчужиной, одетой в парчовый халат", и все воспевали их красоту и величие.

Художники пишут Ала-Тау, голубым и фиолетовым. Так фильтрует воздух цвет снега и изумрудную зелень ельников. На нижней ступеньке горного леса, где, тесно прижавшись друг к другу на краю пенистых ледниковых потоков, стоят березы и осины, много красного, желтого и теплого. Белые нежные стволы окружены бурой крапивой да боярышником, да сухими кустами малины. И если лечь на шуршащее золото, и запрокинуть голову, и смотреть на небо через беспокойный трепет листвы, то почудится, будто ты где-нибудь в средней полосе России на густом склоне крутого оврага прилег послушать осень. И защемит тогда сердце сладостно и томительно, будто неожиданно вспомнилось тебе что-то очень далекое, сокровенное и дорогое. Но ничего не вспомнить, кроме рассказов бабушки, которую в последнее время очень тянуло на Волгу так же, как тебя тянет сейчас сюда. И уйдешь ты взволнованным неизвестно почему и еще долго будешь оглядываться на эти березы, на кусочек настоящего русского леса, полыхающего в закатном мареве.

И закаты здесь не такие, как всюду. С высоты они видятся широко. Солнце большое и щедрое, как отшлифованный небом раскаленный айсберг, медленно проваливается в темноту. Если прикрыть глаза, то увидишь только черное и розовое. А уплывет огненный айсберг — на небе еще долго будут играть сполохи всех цветов радуги, а в горах станет очень черно, таинственно и холодно. Через крошечные ажурные мостики, мимо молчаливых дачных домиков, мимо матвеичева сада голубой автобус уносит от этой таинственности.

А в автобусе только девушка с рыжими волосами, да ее спутник коротко подстриженный ужасно серьезный парень в очках. У нее в руках бархатный букетик эдельвейсов. Теперь за ними ходить надо очень далеко.

## *Чудесное свойство вещей*

Возьмешь ли в руки кедровую ветвь с тяжелыми шишками, или узорчатый кусок зеленой яшмы с далекого алтайского снежника, или чучело остроносой гагары из зайсанских камышей — и поплывут у тебя перед глазами, замелькают чудесные кадры таежный рассветов, зазвучат взбалмошные крики перелетных птиц. Чудесное свойство вещей...

У меня в руках длинная шишка тянь-шаньской ели, словно застывшая тяжелая капля густого лака. Она смолистая и пахучая, как теплый воздух полуденного леса. И сразу вспоминается, что лежала эта тугая склеенная душистым янтарем шишка в черном ельнике на подушечке из прошлогодней хвои, в которую проваливались ноги, лежала рядом с ершистыми сухими шишками, давно уже потерявшими семя. В сырых местах гнилую хвою раздвигали широкие глазки рыжиков и маслят.

Алмаатинцы почему-то собирают грибы мало и редко увидишь лесные дары где-нибудь в городе, в продаже. Вот на востоке, на Алтае, где я работал первые журналистские годы, к грибу совсем другое уважение. Там целый праздник и радость ходить за груздями. Здесь они будто не в моде или ходить за ними далеко, круто и хлопотно. Зато чего только не дарят пестрые горы в укромных местах: и яблоню—дичку разных сортов, и урюк, и малину, и барбарис, боярышник, шиповник. Сорвет ветер перезревшее дикое яблоко и летит оно, набирая скорость, вниз по склону, будто пущенный под откос камень. Только густая трава да кустарник сдерживают эту изобильную лавину. Но если деревья стоят вдоль крутой гладкой тропинки, тогда яблоко несется, как мячик, до самого подножья и, чтобы полакомиться фруктами, не надо забираться далеко: на земле целая россыпь лесных подарков.

...Уже светает. Вышли первые алматинцы. Это дворники. Под ногами хрустят желуди. Осенью у дворников много работы.Кое-где у старых домов, что стоят под дубами, звенят крыши. Желуди рикошетят на тротуар. Я захожу в парк.

Когда-то эти зеленые островки не сливались с улицами разве только потому, что отделились от них высокими массивными решетками. Мы, мальчишки, часто, рискуя порвать штаны, брали эти преграды приступом, а потом, повиснув на деревьях, с наслаждением слушали шутки заезжих конферансье. Мы тогда считали себя очень смелыми и отчаянными.

Сейчас нет оград. Прямо с тротуара можно шагнуть под сень дубов и вязов. И вся разница между парком и улицами в том, что деревья растут здесь теснее и кучнее, а не вытянувшись, как часовые, вдоль тротуаров. В парке под ногами листва гуще, и редко ее убирают, и пахнет она совсем как в лесу. Сюда любят приходить парочки. Они долго стоят, сливаясь с черными стволами вязов, и парни, словно сговорившись, шепчут одно и то же: “Милая, у тебя холодные руки...” — и греют своим дыханием. В такое время к утру на листьях уже выпадает иней.

## *Где твое яблоко?*

У Виталия Бианки есть небольшой откровенный рассказ с неожиданным названием “Уммб”. В нем говорится о том, как человек учится открывать мир и какую радость доставляет ему это открытие.

Для тех, кто умеет видеть, в природе нет ничего ложного: птица подает голос, зверь оставляет на снегу четкий след — у каждого рисунка и следа есть свой хозяин и автор. Человек обязан понимать все это. И в тысячу раз богаче такой человек, что всей душой принимает откровения и тайны природы.

Однажды я, городской житель, уже не впервые побывавший в тайге, шел по лесу зимой с молодым охотником из местных. Он останавливается вдруг и говорит: “Вот здесь сидит белка”, — и показывает на пихту. А деревья стоят плотно-плотно, и снежная шапка над ними, будто единая крыша. А на земле следы тоже вперемежку. Хлопнул он рукавицами, прыснул — и впрямь белка на макушке метнулась. Спрашиваю, откуда, мол, узнал? Объяснил он: “Вот здесь кухта сбита, здесь веточка прогнулась...” Оказалось все просто и по-

нятно и ничего удивительного. Потом много он мне разного рассказал, о чем я и слыхом не слыхивал. И подумал я тогда, ходим мы по земле, а как мало еще про нее знаем. Стыдно даже стало. Парнишка этот, лесоруб, считал меня очень сведущим человеком, а я завидовал ему. Потому что в моих глазах он в тайге был настоящим хозяином. И куда бы судьба ни забросила паренька, в какую бы стихию он ни попал — уверен, он наверняка выйдет победителем.

Потом я очень много ходил и ездил по заданию газеты, и каждый раз, возвращаясь, радовался новым встречам. Нередко были они счастливой находкой, неожиданным "лесным яблоком". И открывал я для себя на земле нашей много маленьких деревень у проселочных дорог, степных аулов и невзрачных избушек у лесосек, где живут мудрые, богатые люди. Рассказы их дышат свежестью, много в них сочных, шершавых деталей, которые сами просятся в память. Долгое время потом торопливые записи в корреспондентском блокноте не будут давать покоя: они заставят тебя рыться в забытых архивных папках, искать редкие книги, встречаться с новыми людьми.

И снова, и снова, в который раз тянет в горы, в тайгу, к голубым хребтам и быстрым рекам. И яблоко из "матвеичева сада" заменяют душистые соты, и грибы, и кедровые орехи, и рыбацкая уха. Гордая лебединая песня в камышах Зайсана заставляет вспомнить застывших молчаливых лебедей в спокойном озерке у алма-атинского кафе "Ак-ку", которого сегодня уже нет. Острые пики Ала-Тау встают вдруг рядом со сглаженными белками, и в черной угрюмой тайге, заросшей пихтой, где стройная голубая ель кажется заблудившейся снегурочкой. Лес приучает сравнивать, пристально разглядывать то, что тебя окружает. Ведь на свете нет ничего похожего.

Каждый день я открываю Алматы как бы заново. Эта радость открытия заставляет торопиться к городу как на свидание с широко открытыми глазами, со сладкой ревнивой болью в груди. Но снова, когда размеренная жизнь входит в свою колею и становится все привычно милым и одинако-

вым, тянет в дорогу, в иной край, который тоже хочется разглядеть ближе, и мысленно тороплюсь на эту встречу.

*Когда это кончится?*
*Никогда не кончится.*

...За синима горами, за быстрыми реками зреет твое лесное яблоко, ждет, когда ты его отыщешь и протянешь к нему свою руку.

# ВОСХОЖДЕНИЕ

С какой точки Алматы ни глянь – видны белые шапки Заилийского Алатау. Забраться в самую чащу тянь-шаньских елей особого труда не составляет – полчаса на городском автобусе.

В свободное время я не упускал случая побывать в горах. Утром, забросив за плечи тощий рюкзачок, я пересекаю наш большой каменный двор. И часто на встречу мне попадается сосед Виктор Степанович с авоськой, полной бутылок с пивом. Он никогда не пройдет мимо.

– Ты все туда?

– Туда. А вы все оттуда?

– Оттуда, – вздыхает он. – Но ничего, ничего. Следующий раз возьмешь с собой?

– Обязательно.

И так продолжается уже лет пять. Иногда Виктор Степанович задерживает меня дольше обычного. Его что-то волнует, и он что-то хочет спросить.

– Читал в газетах. Джомолунгму-то англичане не взяли. И так, и сяк, а она им кукиш. Серьезная горка. Теперь будут в очереди стоять. Потому что все хотят: и немцы, и японцы и американцы. А Джомолунгма одна. И чего они там забыли?

– Крыша мира, – отвечаю.

– Да, да, – говорит он рассеянно. – Крыша, никто не знает где его крыша.

Возраст у Виктора Степановича пенсионный, он сутулится, грузноват, с брюшком. Лицо у него широкое и добродушное, как у артиста Леонова. Работал он где-то в министерстве уже много лет. Общителен до невероятности и зануда порядочный. Фамилии-то я его толком не знаю – не то Малы-

шев, не то Гладышев. Однажды Малышев-Гладышев заявляет:

– Значит, завтра мы с тобой пойдем.

– Куда? – осторожно интересуюсь.

– Туда, – и показывает в сторону белых вершин. – Душно. Кабинеты, на курено, сидячая работа, то да се, сердце, давление, голова идет кругом.

Я пожал плечами, не первый раз он жалуется мне на это. Погода, я вам скажу, стояла прескверная. Все предзимье природу знобило. По радио в прогнозах только и слышишь: снег, мокрый снег, туман. Или солнце выглянет и все подсушит – вообще не поймешь, то ли весна, то ли осень поздняя.

А в то утро вообще было слякотно. Ночью выпал снег и раскис. За окном серо, носа на улицу показывать не хочется. Сам-то я собрался, потому как знаю, что в горах не так, как внизу, а наверняка солнечно. Про соседа-зануду и думать забыл.

Наутро он сам объявился, собственной персоной. В туристских ботинках, в теплой, подбитой мехом куртке, горло шарфом обвязал, на голове — шапка-ушанка. Ни дать ни взять – герой из старой комедии "Пес Барбос и необычный кросс".

– Ну, каков я? – спрашивает.

– Как в кино, – отвечаю. – Только вот, Виктор Степанович, погода.

– А что погода? – жизнерадостно переспрашивает сосед. – Статистику знать надо. Алматинцы с 1916 года более двадцати раз встречали Новый год без снега – и ничего. Это не Россия и не Сибирь, где декабрь мостит, декабрь гвоздит, декабрь приколачивает. И морозы один другого злее: введенские, Никольские, рождественские, крещенские, сретенские, благовещенские...

"Ну, поехал, – думаю, – не заскучаешь".

Отправились мы все-таки на автобусную остановку, и лыж я даже не взял: далеко все равно с таким пузаном не пойдешь, сердце у него, поди, пивное. И одной обузы хватит. Уже по дороге в автобусе я затосковал. За городом на березах и елях белыми куропатками висел пухлый снег, и чистые, не тронутые лыжней, склоны манили к себе. Пассажиры, когда вышли из машины на конечной остановке, разохались. Сразу

видно: приезжие и в горах впервые. И Виктор Степанович с ними тоже раскудахтался, смотреть смешно.

Конечно же, было очень красиво. Впереди дыбились приступы Талгарского пика, будто нарисованные на картинке, такие величественно-театральные, грозные, на рваных клочьях тумана. Было тепло и безветренно, и хмурилось как-то по-весеннему. За жиденькими серыми облаками большим диском висело солнце, словно вырезанное из огромного куска бумаги. Если идти прямо и прямо, то выйдешь к подножью высокой противоселевой плотины, которая надвое перегородила ущелье. Два десятка лет назад двумя мощными взрывами насыпали эту плотину, чтобы предохранить город от грязе-каменных потоков, и теперь сама она стала горой, препятствием, которое можно брать в лоб, штурмом, по каменной лестнице или затяжным подъемом по серпантину.

На запорошенной снегом земляной стене видны были черные фигурки, которые медленно продвигались вверх по невидимым ступеням. Виктор Степанович не пожелал идти в обход, а решил двинуть как все, по вертикали. Я шел первым и слышал, как за спиной сопит и отдувается мой сосед. Несколько раз я останавливался, протягивал ему руку, но он отказывался. Заметно было, что колени у него подрагивали от напряжения и неуверенности и, прежде чем сделать следующий шаг, он медлил и задумывался. Лицо его раскраснелось, он выглядел растрепанным и распаренным, размотанный шарф давно болтался у него на плече, ворот куртки был расстегнут, обнажал розовую плотную шею. Мне немного было жалко его. Сосед, наверное, и не представлял, куда занесет его нелегкая. Непросто это — поднятья с непривычки нетренированному человеку даже на несколько сотен шагов, даже по каменным ступеням с перилами. Тем более, если у этого человека большой живот и слабые ноги. Впрочем гребень плотины уже недалеко, передохнем там, поохаем на красоту, и можно спускаться. Пусть загублен такой денек, но Гладышев-Малышев наверняка больше за мной не увяжется.

Когда мы добрались до вершинки, свет плеснул из разрывов дымных облаков, зажег снега и заставил зажмуриться. Прямо перед нами, под ногами и выше впереди, лежала

снежная зеленая страна. Среди старых тянь-шаньских елей темнели в морозной синеве дорожки и тропы, они уводили к бывшей туристской базе "Горельник" и еще дальше – на Чимбулак, к леднику Туюксу. Я много раз бывал там в разные времена года и всегда, несмотря на усталость, возвращался будто обновленный, наполненный жизнью и желанием действия. Но мне не так часто приходилось видеть в той стороне людей возраста Виктора Степановича. Оно понятно – высота более двух километров, сердце, давление — зачем рисковать? У каждого человека и возраста свои маршруты.

Мы глазели на эту зеленую страну, на изломы каменных пиков, припорошенных голубым снегом. Я посмотрел на Виктора Степановича — он глядел на белый перевал, как мальчишка, встретивший нечто забавное, оттопырив нижнюю губу и приоткрыв рот. Только в глазах, под сдвинутыми седыми бровями, таилась тоскливая сосредоточенность, которую, как мне казалось, я отлично понимал. Ведь эта красота скорее всего уже недоступна ему. Он может любоваться ею со стороны, как на экране телевизора.

Нет, не годы и не болезни здесь причина. Мне приходилось бегать кроссы с человеком, которому уже под семьдесят, который два раза в неделю обязательно ходит на теннисный корт, каждый день делает зарядку. Несмотря на возраст, он работает по 12 часов в сутки.

Дело скорее всего во внутренней лености, в неумении и нежелании собрать себя. Эта леность подкрадывается при первом благополучии еще в молодости, незаметно втягивая во власть новых удобных привычек, и всегда находится масса внутренних причин, чтобы оправдать свою неподвижность и усталость: и заботы, и плохая погода, и там, глядишь, на годы долгие мягкие тапочки, телевизор, плохое пищеварение и брюзжание по поводу и без повода. Человек обкрадывает себя, отвернувшись однажды от движения, природы. И хотя ему свойственно воспринимать красоту, он лишь умиляется при виде гор, леса, реки, сверкающего ледника: красота ему светит как бы коротким отраженным светом, мгновенной вспышкой.

Так думал я и втайне гордился своей проницательностью.

И пока мы, так сказать, упивались горным воздухом и со-

зерцали далекие скалы, из-за синих елок буквально выкатилась разноцветная ватага школьников с лыжами и санками. Они быстро шли навстречу нам по дороге, возбужденные и радостные. Их лица, тронутые горными лучами, светились бронзовым загаром, глаза блестели. Они посмотрели на нас, как бы это понятнее выразиться, с чувством превосходства, что ли: мол, вам, дяденьки-пузаны и женатики, там, куда мы идем, ничего никогда не увидеть и узнать.

Я улыбнулся, довольный, что смог понять этих подростков и повернулся к Виктору Степановичу. Он тоже смотрел вслед школьникам, и мне показалось впервые, что мы думаем об одном и том же.

– Ну, что ж, – сказал я, – ничего не поделаешь – пойдем.

– Пойдем,– сказал он и шагнул на тропу, по которой только что прошли подростки.

– Куда? – спросил я. – Пойдем вниз к остановке, солнце уже высоко, и вон надвигается туман.

– Ну его к чертям, этот туман, – и он, не дожидаясь моего согласия, решительно двинул по белой дороге, ведущей к Чимбулаку.

Надо было видеть его. Грудь он держал колесом, куртку снял и завязал на животе, руки заложил за спину, шаги старался делать сосредоточенно-размеренные, раскачивая как маятником большой головой.

“Ладно, пускай, – думаю, – идет, надолго его не хватит. А как устанет – вернемся”, – и я нехотя пошел следом.

Но Малышев-Гладышев не думал уставать. Мы шли, задевая плечами еловые лапы, вызывая маленькие снежные вихри. Изредка мой спутник останавливался, отдуваясь, доставал большой клетчатый платок, вытирал лысину и, чтобы не выдавать усталости, делал вид, что любуется близкими склонами.

Я обратил вдруг внимание, что мой сосед почти все время молчит, как-то внутренне ушел в себя, будто решает в дороге нелегкую математическую задачу. Мне даже стало неловко. Может быть, я ненароком обидел его.

– Тихо, – сказал я, – такой большой лес, а тихо, ни птиц, ни зверей.

– А откуда быть шуму кроме этих чертовых машин, – пробубнил Виктор Степанович себе под нос. – Птицы здеш-

ние, разные синички, дубоносы, дрозды, спускаются на зиму вниз, где есть всякий корм: шиповник, боярышник. А горные козлы, косули ушли на южные склоны, где меньше снега и тоже есть пища. Да и не стало здесь козлов – туристы все скалы растормошили. Да коттеджей вон сколько понастроили. Какие тут козлы. Зверь в тишине ходит.

"Вам-то откуда это знать? – чуть не выпалил я. – Книг, поди, начитался. Благо сейчас что ни охотник – то писатель".

Виктор Степанович, уж точно, отродясь леса не видел. Храбрится-храбрится, а у самого ноги дрожат. Да для него этот Чимбулак вроде Джомолунгмы, а то и еще похлеще. Дышит как паровоз. Зачем он для себя в таком возрасте испытания придумывает? Один выход ему все равно ничего не прибавит – ни выносливости, ни здоровья. Только завтра больным будет и разбитым, еще и ругать меня станет. Уж это точно. И все для того, чтобы перед сослуживцами похвастать, что он до Чимбулака дошел.

За узким мостиком через горную речку дорога резко пошла на подъем. Скованная ночным морозом, она блестела ледовой коркой, и путь по ней обещал быть малоприятным.

– Виктор Степанович, да полно, – сказал я, – считайте, что мы уже пришли. Ни к чему это. Лыж мы с собой не взяли, а что ноги бить без толку.

– То есть как пришли? – ехидно спросил Виктор Степанович. – Устали, молодой человек? Прошу на пенек, только не остыньте, разгорячились.

Это уже было слишком. Я ринулся на ледовую тропу, что скорее походила на горку, которую заливают ребятишки для санок. Я дважды поскользнулся и больно ударился локтями, а Виктор Степанович все пыхтел и сосредоточенно карабкался за спиной, удерживаясь за торчащие с краю корневища и выступы вмерзших камней. Со стороны, наверное, это было смешное зрелище. Непонятное упорство Виктора Степановича, его щедрая трата и без того невеликих запасов своей энергии раздражала меня своей бесцельностью. Я уже не рад был, что потащил старика с собой.

В довершение всего сверху раздались грохот и гиканье. Прямо на нас на крохотных детских санках летел добрый молодец, тщетно пытаясь притормозить растопыренными ногами в тяжелых грубых ботинках.

– Берегись! – орал он.

Мы едва успели отскочить и прижаться к елкам. Только пришли в себя, как из-за поворота как горох посыпались санки, еще и еще. Со скоростью мотогонщиков ездоки скрылись где-то внизу, подняв вихрь снежной пыли.

– Куда родители смотрят, – строго сказал Виктор Степанович, но его суровость показалась мне неискренней.

– Вот так бы до самого города.

Виктор Степанович только посмотрел, но ничего не ответил.

Ноги дрожали, жаркая испарина окутала тело, когда мы вышли наконец к Чимбулаку. Слева в рядок стояли разноцветные домики спортивной базы. И еще какие-то громоздкие строения, которые поднялись недавно. Видно было, как фигурки лыжников, словно снаряды, выпущенные из катапульты, неожиданно вылетали на белый склон, будто хотели приземлиться на крыши домов. А справа из ущелья, из синевы густых елей, из груды розовых гранитов, поднимались сиреневые отроги Талгарского пика, остроконечные, с изломами, ложбинками, каменными морщинками, осыпями, карнизами, нависшими над пропастями, с ослепительными пятнами навечно слежавшегося снега, с тревожным блеском льда под таким близким и жарким здесь солнцем, хоть снимай с себя все свитера, рубашки, шапки, садись на пень и загорай.

Пик, по виду которого можно представить, что такое горные вершины, словом, настоящий и классический пик, был так близко, что, казалось, протяни руку и почувствуешь шершавость его морщин и изломов.

Человек, непривычный к горам, неизбалованный близостью с ними, рядом с вершинами наверняка ощущает почти суеверный трепет перед величием и надежностью.

“Сколько дум и надежд, сколько песен и тем горы будят у нас...”, – я слушал эту песню под гитару на ночном привале среди бородатых продрогших альпинистов, и она звучала очень даже правильно. Многие из этих ребят писали стихи, а если не умели, то читали стихи своих товарищей, а если товарищи скрывали от друзей свои опыты, то всегда находилась песня, и всегда находились слова, нужные к моменту, ибо среди этих громад, упирающихся в небо, под крупными зелеными звез-

дами, в окружении примолкшего черного леса, как нигде хочется быть самим собой, хочется делать добро, любить и ранее неразрешимые проблемы становятся яснее солнечного утра. Я не встречал среди альпинистов людей, думающих только о себе...

Над Чимбулаком сияло небо густой синевы, дышалось легко, и тело как бы постепенно тоже стало легким, словно усталость осталась там, внизу, будто сброшенная тяжелая одежда, и в этот храм света и солнца надо являться обязательно очищенным.

И вот Виктор Степанович на пороге этого храма совершенно неожиданно для меня выпрямился и стал декламировать хриплым голосом: "Бушуют скалы снежного Тянь-Шаня. Раскованные мчатся снегопады, лиловый фирн блестит в немых ущельях... То город вещих снов – Алма-Ата! То сила жизни в дивном напряженье, возьми ее..."

– Шесть десятков лет назад написано, а какая точность, какая ясность, – воскликнул Виктор Степанович. – А я помню Луговского. Видел его в Алма-Ате. Высокий такой, седой, взгляд орлиный. Идем с товарищем тогда еще школьники-пионеры около киностудии по улице 8 Марта, и он мне говорит: "Посмотри, вон Луговской". Я, правда, тогда его мало читал. Мальчишка почти еще, война, зима... А потом как прочел "Город снов", так сердце будто зашлось: "Стоит густая очередь за хлебом. Вплоть до утра не спит Алма-Ата. И время черным падает обвалом..." – Глаза Малышева-Гладышева повлажнели.

Ватага ребят в ярких спортивных костюмах вывалилась из-за домика с криками и улюлюканьем. Задрав голову вверх, мальчишки размахивали лыжными палками. В черной кроне елей мелькнула по-зимнему серая шубка белки. И Виктор Степанович тоже присоединился к мальчишкам. Уж очень ему хотелось увидеть зверька.

А вокруг было настоящее буйство красок, света, искрящегося снега. Время от времени, чуть ли не с неба, со стороны слаломной горки, от канатной дороги скатывались лыжники, они лихо спускались к домикам и тормозили у самого порога. Они были тонкими, гибкими и молодыми.

– Откуда их столько? Совсем еще дети, – ревниво сказал Виктор Степанович.

– Детская спортивная школа. Горнолыжников готовит. У меня здесь тренер знакомый.

– Хорошо, когда есть знакомый...

– Спустимся сверху, попьем чаю.

– Из жестяной кружки. Из большой жестяной кружки.

– Можно из кружки.

Мы сидели на скамейке, прислонившись к деревянной стенке домика, и жмурились на солнце. Припекало. Закрыть глаза – совсем как в июне. Если бы не запах снега.

Скоро, однако, мы начали остывать, и неожиданно, как часто случается в горах, потянуло холодом. Вскочив на ноги, мы увидели, как вверх по ущелью плывет густая пелена тумана. Вернее, даже не плывет, а торопится, как пенный морской прибой, готовый вот-вот разбиться о скалы. Минут через десять все растворилось в белом молоке, близкие предметы – деревья, фигуры людей – стали неясными и расплывчатыми. Лыжники торопились вернуться на базу. Одни за другим они вырывались из пелены серыми призраками.

Скоро мы сидели в комнатке моего товарища, тренера Вити Тимонина, на узких незастеленных койках и пили чай из большого трехлитрового термоса. Кружки не нашлось, и Виктору Степановичу досталась пол-литровая банка. Только сейчас я понял, как он устал. Лицо осунулось, нос заострился, а под глазами припухло. Он долго рассматривал Сашины горнолыжные ботинки, огромные, с планками, пряжками и застежками, ботинки, огромные, чем-то напоминающие ортопедические. И лыжи, широкие лыжи, заинтересовали его.

Крепыш Тимонин, загорелый, улыбчивый, был приветливым хозяином.

– Австрийские, – сказал он, кивая на лыжи. – Очень хорошие лыжи.

– Хорошие, – согласился Виктор Степанович.

– В первый раз на такой высоте? – спросил Саша.

– Первый, – кивнул Виктор Степанович.

– Ничего, ничего, – бодро сказал я, – мой сосед просто молодец.

– Первый, – продолжал Виктор Степанович, – за последние тридцать лет.

– А где приходилось еще? – спросил Саша.

– Марухский перевал, перевал Санчаро...

– Центральнай Кавказ? – спросил Саша.

– Закавказский фронт.

– А-а-а, – сказал Саша и подлил Виктору Степановичу чаю.

– Там я схлопотал пулю в бедро, в сорок втором.

– Ясно, – сказал Саша.

Стекла в окнах казались матовыми от плотного тумана, и ничего не было видно. Было уже поздно, а идти в сумерках опасно. Тимонин проводил нас до подножья ледовой горки.

– Приезжайте встречать Новый год по старому стилю, – крикнул он уже сверху. – Это традиция. Ребята соберутся, все наши.

– Приедем, – пообещал я.

Туман все тянулся по ущелью, он пронизывал до костей, холодил лицо и уши.

Виктор Степанович закашлялся. Он кашлял долго, с надрывом, содрогаясь всем телом.

– Чтоб его черти взяли, это легкое, – выругался он. – Как сырость, так хандрит.

– Простуда, – сочувственно сказал я.

– Ранение, – ответил он.

– На Кавказе?

– Нет, – протянул он. – То гораздо позже. Уже после Алма-Аты, после госпиталя. В конце войны занесло меня в Югославию. К партизанам в Юлийские Альпы. Может, слышали? Это в Словении на границе с Италией. Там и встретил Победу.

– Слыхал, – ответил я, хотя толком не представлял, где эти самые Юлийские Альпы. – Еще бы, конечно, слышал, – повторил я, будто что-то припоминая.

Я чувствовал себя учителем, уличенным в безграмотности.

Идти было легко, и мы торопились разогреться быстрой ходьбой. Ели виделись дрожащими зыбкими тенями. Казалось, весь белый снег окутан кисейной завесой. Впереди среди холодной синевы вспыхнуло желтое пятно, как огонь уличного фонаря. Словно свет маяка между землей и небом. Это теплое сияние манило к себе. С каждым шагом оно разрасталось все шире и шире, проявляя застывшие контуры гор.

То вершины предгорий, освещенные закатным солнцем, выплывали из тумана, как мираж, как сказочный светлый корабль, раздвигающий айсберги облаков. Туман отступал, горы проявлялись все резче и резче, словно изображение на фотографии. Так, наверное, проявляется в памяти забытое – деталь за деталью, люди, лица, поступки, разные места земли – проясняются в памяти одно за другим, как эти хребты, высвеченные солнцем.

Виктор Степанович всею дорогу молчал.

Наконец мы вышли из тумана.

## СОДЕРЖАНИЕ


Годы и люди ........................................................................3

ТЕПЛЫЕ ЗВЕЗДЫ

Красный сайгак....................................................................6

Сотворение песни ..............................................................18

Теплые звезды ....................................................................27

Светлый человек с улицы мира .........................................40

Прикосновение к вечности ................................................52

Возвращение ......................................................................61

Родник ................................................................................70

Возкрешение ......................................................................77

«Синяя птица» Максима Зверева......................................86

Сладкий миндаль с горьким привкусоми.........................98

Искатель подземных морей.............................................107

Лицом к лицу – лица не увидать.....................................115

Тропа на Чимбулак...........................................................129

ТОРОПЛЮСЬ НА СВИДАНИЕ

Синюшонок.......................................................................138

Нежный Лопоухий............................................................153

Счастливые под абрикосовым деревом..........................170

Белая тропа........................................................................204

Тороплюсь на свидание....................................................223

Восхождение.....................................................................231

**Эдуард Олегович Мацкевич**

# КРАСНЫЙ САЙГАК

*Литературные эссе, рассказы и повести*

*Редактор* Т. Жакып
*Корректор* А. Билалиева
*Художественный редактор* А. Куралбаев
*Технический редактор* Н. Суйеубекович

ИБ № 271

Сдано в набор 18.08.06. Подписано к печати 14.09.06.
Формат 84 х $108^1/_{32}$. Бумага офсетная. Гарнитура " Times New Roman". Офсетная печать. Усл. печ. л 15.
Тираж 2000 экз. Заказ №74

Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Жангельдина – Тургенская, 30/26, ИК "КАЗакпарат"
тел: (8-3272) 30-44-40, 30-42-47

---

Типография ИК "КАЗакпарат"